

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 44

1983



Георгий ГУЛИЯ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

ПОЕЗДКА В КИНО

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 44

Георгий ГУЛИА

ПОЕЗДКА В КИНО

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1983

Георгий ГУЛИА

Георгий Дмитриевич Гулиа родился 14 марта 1913 года в Сухуме. По образованию инженер-путеец, работал на строительстве Черноморской железной дороги. Занимался журналистикой, живописью и графикой. В 1943 году Г. Гулиа как художнику было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, а в 1971 году — звание заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР.

С 1938 по 1945 год он работает начальником Управления по делам искусств при Совете народных комиссаров Абхазской АССР и одновременно секретарем Союза писателей Абхазии. С 1950 года — член редакционной коллегии «Литературной газеты».

Член КПСС с 1940 года.

Печатается Г. Гулиа с 1930 года. Он автор рассказов, повестей, романов, юморесок, статей. Его первая повесть — «На скате», затем идет «Месть» (1936), «Рассказы у костра» (1937) и другие. За литературную деятельность он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и тремя орденами «Знак Почета», а также болгарским орденом Кирилла и Мефодия 1 степени. В 1949 году ему присуждается Государственная премия за повесть «Весна в Сакене», а в 1974 году — премия имени Дмитрия Гулиа Абхазской АССР за книгу «Повесть о моем отце».

Нашей современности посвящены повести «Леночка», «Каштановый дом», «Скүрча уютная», «Все видели спящую реку», роман «Пока вращается Земля». Повесть «Черные гости» и роман «Водоворот» рисуют Абхазию девятнадцатого века, а романы «Фараон Эхнатон», «Человек из Афин», «Сулла», «Ганнибал, сын Гамилькара», «Сказание об Омаре Хайяме», «Викинг» — жизнь Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Карфагена, средневековых Ирана и Норвегии. Жизни русских поэтов посвящены роман «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова» и повесть «Поэт, или Александр Блок».

МОСТ

Немножко поламывало в костях, особенно в левой ключице. Вроде бы ревматизм. А скорее всего похоже на простуду. «Один черт», — подумал Георгий Айба.

Он вышел на балкон своего каштанового дома, взглянул на горы, обступившие полукругом село Дурипш, и сделал несколько глубоких вздохов, поднимая и опуская руки.

Это был сухощавый, с лицом, загорелым на знойных чайных плантациях, крестьянин, причем загорелым настолько, что его пепельного цвета волосы казались бело-белоснежными.

Раннее утро. Солнце находилось где-то за ближайшей вершиной. А вершина словно вырезана из ярко-белого картона и помещена на ярко-синем небесном полотне.

Дом Георгия фасадом выходил на хорошо утрамбованную проселочную дорогу, с обеих сторон обрамленную кустами ежевики. Автомшины в любую погоду свободно подкатывали к его воротам, всегда готовым к приему гостей. Сказать по правде, подкатывали они частенько — без предварительного извещения, чисто на абхазский манер. И в это утро тоже кто-то подкатил, но не на автомашине, а на обыкновенном велосипеде.

— Читай! — крикнул пожилой почтальон и покатил дальше. А читать надлежало письмо, которое он, как обычно, свернул трубочкой и вставил в мелкую калиточную решетку.

Георгий спустился по каменной лестнице, пересек травянистый двор. Повертел в руках письмо, прежде чем вскрыть его. Оно было из Белозерска. «Это еще что?» — подумал Айба. Может, ошибка вышла и письмо вовсе не ему?! Нет, ошибки никакой — именно ему: имя и фамилия — его. «Белозерск!» — повторил он про себя. Ему почудилось, что даже горы склонились в немом любопытстве — такого слова здесь еще не слыхивали.

Присел Георгий на скамейке под деревом, начал читать...

Значит, так:

«Уважаемый тов. Айба! Извините, отчества Вашего не знаем. Недавно смотрели по телевидению абхазскую самодеятельность. И Ваше село Дурипш видели. И зажигательный танец тоже. Мы

с моим другом, приехавшим ко мне погостить из г. Вытегры, решили, что прекрасный танцор — уже в летах — это наш бывший однополчанин замполит Айба. Мы с ним воевали сорок лет тому назад в Бережанах, Щиреце, Львовской области, в степях Украины. Мы решили, что Вы и есть наш замполит, и нам хочется встретиться с Вами, со всеми, кто остался от нашего саперного батальона... А имени нашего замполита не знали, потому что был он для нас просто замполит или тов. Айба. Если это Вы — напишите нам...»

Дальше следовали адреса и две подписи: «Петр Николаев, Павел Федоров...»

Прочитал Георгий письмо, перечитал еще и еще раз... Бережаны, Щирец, Западная Украина... Да, это те самые места, где начал войну его младший брат Владимир. Верно, 9-й отдельный инженерный батальон, да, 6-я армия... Откуда же пришло последнее письмо Владимира?.. Верно, из города Щирец! Оно было написано в начале июля сорок первого. Сколько же с тех пор прошло времени? Целых сорок лет! Сорок долгих лет, которые вконец измотали и отца и мать, умерших от горя...

И вот, спустя столько времени...

Георгий Айба кулаком трет влажные глаза и снова перечитывает письмо...

Первое, что хочется сделать,— сесть и тут же написать ответ. Но это невозможно — надо отдышаться, надо, чтобы до времени не выскочило сердце из груди.

Он медленно поднимается к себе, подходит к стене у кровати, где на него смотрят немного грустные глаза молодого человека с четырьмя угольниками в петлице. Иногда его путали с братом — разница всего в один год. Однако у Владимира лицо было чище, матовой, глаза побольше и поласковей... Сорок лет ни слова о нем, сорок лет молчания, словно и вовсе не жил на свете умный, добрый, талантливый инженер Владимир Александр-ипá Айба...

Георгий снова трет глаза шершавым кулаком и про себя говорит: «Война... Да, была война...» Но утешения в этой простой истине не находит.

А что потом?

Георгий пишет письмо. Смысл таков: нет, он не Владимир. Он старший брат его. Что же известно Николаеву и Федорову о нем? Важно все, до мелочей... И не могут ли они приехать в Абхазию, здесь их встретят, как братьев. Владимир воевал за Украину, он воевал и за Абхазию. Мы одно целое вместе с Белозерском и Вытегрой...

Так писал Георгий.

И тут пошли письма из Вологодской области — в Дурипш, а из Дурипша в Вологодскую область. Многое узнал Георгий о своем брате Владимире, воевавшем вместе с Николаевым и Федоровым...

Владимир был молодым инженером. Его называли «ходячей энциклопедией» (П. Николаев). На все вопросы красноармейцев у него всегда был точный ответ. Он мог играть в шахматы, находясь в соседней комнате, ему только надо было сообщать ходы противника (П. Федоров). Перед самой войной, находясь с курсантами учебной роты, предложил конструкцию противотанковой гранаты, которая прилипала к броне танка и поражала его. Это предложение было послано в военный округ...

Володя много рассказывал об Абхазии, о своем селе, о горах (П. Николаев).

Когда на рассвете 22 июня началась война, он с горсткой бойцов несколько часов сдерживал наступление танков на своем небольшом участке. Он говорил:

— На силу есть сила!

Когда приказано было отступить, Володя залег во ржи и пулеметным огнем прикрывал солдат, пока они торопились к грузовикам.

Вечером того же дня Владимир обезоружил нескольких немцев (П. Федоров).

Тяжелые бои продолжались днем и ночью. Выяснилось, что на ближайшей товарной станции стоят цистерны со спиртом. Целый состав.

Владимир получил приказ взорвать состав. Он взял с собою Николаева, Федорова, Левчука и Якубова. На плечах у них — винтовки, за плечами — взрывчатка.

— Послушайте,— сказал Владимир,— нас же с вами немного. Но посмотрим, кто стоял за нами. Николаев, Федоров, Илья Муромец был ваш. Левчук, у тебя хороший пример Тараса Бульбы, а твои предки, Якубов, сражались с Чингисханом. А у нас, в Абхазии, тоже был герой — его звали Абрскйл... Так что не робеть!

Было очень, очень жарко. Солнце палило, как и положено в июле. Шли, хоронясь подальше от дорог, по которым громыхали танки с крестами.

Вечером, когда солнце совсем скрылось, подползли к станции, прилипли к земле на расстоянии полсотни метров и — дали по составу! Продырявили почти все цистерны, а Владимир пополз еще ближе и бросил гранату. Вот тут-то и запылал спирт — огонь аж до самого неба!

А наши, как условились, к леску, там и собрались все впятером и — давай назад, в свою часть!

Вверху, в иссиня-черном небе, озорно подмигивали звезды, светила луна. Там, наверху, было и торжественно и тихо — не то что на земле: здесь гудели танки, строчили автоматы, ухали пушки и кровавое зарево стояло над лесом...

«...С нашим замполитом связано много воспоминаний о начальном, самом тяжелом периоде войны, и ответственные задания мы выполняли под его командованием» (П. Николаев).

Саперный батальон расположился в густом лесу. С небольшой опушки было видно, как двигаются на восток, в тыл нашим, немецкие танки и грузовики.

Командир батальона вызвал замполита инженера Владимира.

— Они переходят через реку вброд? — спросил он, кивая в сторону шоссе.

— Не думаю, товарищ комбат, — отвечал замполит. — Эту реку я видел — едва ли грузовики проползут по ее дну. Да и танкам, пожалуй, не так уж просто.

— Тогда что же это? Выходит, как на параде? Прямо по мосту?

— Получается, так.

Комбат — такой чернявый украинец, широкоплечий, скуластый, роста ниже среднего — подумал немного и приказал:

— Берите с собой группу, запаситесь взрывчаткой и проверьте, в чем дело там, на реке. Мост взорвать! — И добавил: — Если он, конечно, целый...

Владимир назвал своих друзей и вместе с ними направился в сторону реки. С грузом взрывчатки, точнее, с противотанковыми минами. Было это за полночь.

Вокруг — тишина, а гроыхало где-то далеко, в небе — очень высоко — гудели самолеты. Но казалось, что все эти гроыхания и гудения не имели отношения к местности, по которой шел Владимир с бойцами...

Через час саперы достигли реки.

Пошли по течению — по-над высоким берегом. А потом поползли — уже на виду моста. Да, он оказался целехоньким. По нему-то и шли машины, спокойно проходили танки.

Николаев пополз дальше и через полчаса вернулся. Он доложил:

— Охрана большая. Мост — так себе — метров тридцать, посреди одна опора. И довольно прочная, раз танки проходят.

Владимир достает из планшета карандаш и бумагу.

— Ко мне! — приказывает он.

И все пятеро склоняются над бумагой. Благо светит украинская луна всей своей мощью.

Владимир чертит два берега — две почти параллельные линии. На глаз определяет ширину реки — метров 30—35. Наносит мост, особо тщательно опору, которая делит мост надвое.

Потом над чем-то основательно раздумывает.

— Вот так, — говорит он. — Мы, значит, сооружаем два плотика. Грузим на один мины. А на другой — камни. Равные по весу минам. Связываем плотики веревкой длиною, скажем, в десять метров. Это надо еще как следует продумать. Затем все это мы спускаем вниз по реке, да так, чтобы наши плотики проплыли справа и слева от опоры.

Бойцы внимательно слушают...

— На плотик я прилажу взрывные устройства — для надежности два. Плотики поплывут, а у опоры моста будет задержка. Это значит: наша веревка зацепилась за нее. А течение прибывает к опоре — справа и слева от нее — наши плотики. Если все сделаем на славу, веревка потянет одну и другую чеку и — опора разрушится, мост рухнет от взрыва.

Владимир предлагает сначала проверить все это.

Живо сооружает плотики — благо лес рядом. Владимир прилаживает к булыжнику холостое взрывное устройство с чекой, на плотики грузят камни. И замполит лезет в воду.

Левчук и Якубов тоже в воде. Они удерживают плотики. Николаев привязывает один конец веревки к плотику, что подалее от берега. Воды здесь по горло. А Федоров — с винтовкой на берегу — зорко наблюдает, все ли в порядке вокруг.

Владимир командует:

— Отпускайте плоты!

И они плывут — не очень быстро и не очень медленно. А Владимир изображает из себя опору.

Вот плотики возле него, вот веревка опоясала Владимира. Миг! — и чека щелкает на плотике, что ближе к берегу. Сработало! Якубов и Федоров плывут по течению, толкают плотики к берегу. Теперь можно грузить вместо камней мины.

Все повторяется сначала с той лишь разницей, что вместо камней на одном плотике десять мин и веревка привязана к боевой чеке, хитроумно приспособленной Владимиром — недаром слыл изобретателем! Взведена и другая чека...

Трое саперов снова лезут в реку, двое остаются на берегу и прислушиваются к каждому шороху.

Владимир приказывает:

— Отпустить плоты! Ждать меня обратно только полчаса! После чего — всем в батальон! Ясно?

— Разрешите... — говорит Николаев.

— Не разрешаю! Выполнять!

И плотики поплыли. Река была спокойная, в меру глубокая, теплая в эту июльскую жару.

Владимир тоже плыл, слегка придерживая веревку, как бы внося поправку в движение плотиков, чтобы они все время оставались справа и слева от срединной линии реки.

А там, на мосту, все движется на восток, светят полуприглушенные фары, слышна немецкая речь.

Николаев и Левчук выжимают одежду, не спуская глаз с моста.

Время, которое до сих пор буквально бежало, вдруг остановилось: секунда, секунда, секунда... А где же минуты? Сколько надо времени, чтобы течением отнесло плотики к самому мосту? Ведь до моста не больше четверти километра. Правда, река степная, не быстрая. И все же...

Четверо бойцов лежат на земле, затаив дыхание. Правильен ли расчет Владимира? Сработает ли чека? Пристанут ли плотики к опоре? Если да, то когда это самое?.. А если нет?.. Движение на мосту застопорилось: что-то застряло у левобережного устоя.

— Машина какая-то, — шепчет Федоров.

— Я что-то не вижу, — говорит Левчук.

— Вон там, вон там, — указывает рукою Якубов. Он зачерпывает ладонью воду и смачно пьет.

— Вижу! — говорит Левчук. — Вижу! Они уже двинулись.

Федоров сжимает винтовку. Озирается вокруг: нет, все спокойно...

Вдруг на реке что-то всплескивает. Что это?

Проходят томительные минуты: нет, ошибка, все спокойно на реке.

— Может, рыба была, — предполагает Левчук.

— Или осколок зенитного снаряда упал в воду, — предполагает Якубов. — Разве нет?

И тут раздается грохот. Но какой! Мост рушится. Это хорошо видно. Машины сползают в воду. Что-то начинает гореть...

— Ура! — Бойцы радуются вполголоса.

— Внимание! — командует Николаев. — Отходим к тому кусту.

И все четверо отползают к кусту — быстро-быстро, на животе, не спуская глаз с моста.

Потом проходят десять минут...

Потом еще десять...

И еще десять...

Итого — полчаса!

Верные приказу замполита, все четверо возвращаются в батальон...

Георгий Александр-ипа Айба — Петру Николаеву в Белозерск: «Дорогой наш Петр! Мы приглашаем Вас и Павла Федорова к нам, в Дурипш. Вы последними видели нашего Владимира. Я знаю, что вы — пенсионеры. Приезжайте же отдохнуть — на месяц, на два, на год. Мы всегда будем ждать вас, как братьев...»

Мост, по свидетельству Петра Николаева, был взорван в ночь на 11 июля 1941 года, в 3.15. Название реки позабылось. Да и не все ли равно какое! Мало ли было и рек и мостов, когда шли мы сначала на Восток, а потом на Запад, только на Запад!..

Р. С. Рассказанное здесь основано на переписке. Изменены только имена, да и те не полностью. Все материалы переданы в Центральный архив Абхазии.

Агудзера, Абхазия.

ПОЕЗДКА В КИНО

Не могу сказать, что отель «Енгематтхоф» находится на самой окраине Цюриха, но определенно — на порядочном расстоянии от центра. Тихий, почти домашний «Енгематтхоф», на тихой, почти местечковой улице... Привез меня сюда Эрнст Людвиг. Прямо из аэропорта Клотен.

— Здесь тихо, — сказал он.

— А я урбанист, — сказал я. — Не боюсь городского шума...

— Как? Шума не боитесь? — удивился он.

— Напротив, люблю шум — настоящий, городской.

— Вы серьезно?

— Вполне.

— Но я именно здесь забронировал номер... Я думал...

— Хорошо думали! Все в порядке! — И я бодро понес чемодан вверх по широкой лестнице.

Потом мы целый день гоняли по Цюриху и его окрестностям, обедали в деревенском ресторанчике... Потом расстались ненадолго. А позже пили растворимый кофе в тихом буфете тихого отеля.

В восемь тридцать вечера он спохватился:

— Пора ехать в кино!

— Я готов, — сказал я, — а про себя: «Успеем, в запасе целых полчаса!»

А Эрнст Людвиг торопился.

Сели в машину и поехали. Он вел свою «тоёту» очень уверенно, даже чересчур быстро. Завидев красный свет на светофоре, Эрнст произнес слово «черт!». Проехав светофор, он жал на газ.

Эрнсту Людвигу за пятьдесят. У него почти квадратное лицо древнего египтянина, массивные очки, какие не носят в Цюрихе модничающие мужчины. Человек он деловой, нет времени с очками возиться — работает в торговой фирме. Хорошо говорит по-русски. Оказывается, родился он на Украине, детство провел в Крыму — оттуда-то и знание русского языка. А потом — в Цюрихе, русский язык в семье...

Он смотрит на часы и продолжает чертыхаться, сворачивает на какую-то улицу.

— Нам не надо сюда, — объясняет он, — но так быстрее.

— А куда надо?

— Поближе к вокзалу. Но не очень близко.

Мы едем по улочке. Называется она Ципрессен-штрассе. Я не понимаю, чем она лучше широкой Баденер-штрассе. Однако Эрнсту Людвигу виднее.

— Это будет подальше, — говорит Эрнст, — зато выигрыш во времени. Меньше светофоров, меньше дурацких ожиданий.

«Тоёота» то плавно катится, то вдруг срывается с места, словно ее катапультировали.

Ципрессен-штрассе, возможно, и тихая улочка, но едем мы как по узенькому коридору: справа и слева от нас — сплошная цепь машин. Я не уверен, что разведемся, если вдруг покажется встречная.

— Теперь направо, — говорит Эрнст, — и мы выедем на Лангштрассе. Она тоже нам не нужна, но попадем куда следует. Опять этот черт!

Он резко тормозит перед светофором. Поворачивается ко мне. Ремень, которым он привязан к сиденью, стесняет его движения.

— Мой план таков: мы не будем особенно приближаться к вокзалу. А стоянку отыщем на Левен-штрассе. Или — нет! Скорее всего — на Ураниа-штрассе... А еще лучше...

Тут зажигается зеленый свет, и нас кто-то с силой кидает вперед.

Мне показалось, что Эрнст Людвиг слишком ловчит. К чему, думаю, все эти кружные маршруты? Не проще ли ехать по широкому улицам? Они уж наверняка куда-нибудь да выведут, они надежнее...

Но у Эрнста Людвига свой расчет. К тому же время поджидает — в нашем распоряжении пятнадцать минут. А в Швейцарии в кино надо приходиться вовремя. Как и у нас.

Судьба бросает «тоёоту» в бурный поток автомашин. Здесь машины со всего мира: «хонды», «пижо», «мерседесы», «вольвы», «форды» и так далее.

— Я знаю это кино, — вслух размышляет Эрнст. — На маленькой улице. Возле не поставить машину... Все, как правило, забито. Мы найдем другую улицу... Есть такая у меня на примете. На ней всегда есть местечко... Правда, можно на подземную стоянку — недалеко от вокзала... То есть сравнительно недалеко. Но мы тогда опоздаем в кино... Нет, нельзя нам на ту стоянку!..

Справа и слева нас чуть ли не подталкивают машины, едем, можно сказать, впритирочку. Да и в лоб иногда норовят врезаться автолихачи. Надо держать ухо остро и глядеть в оба.

Эрнста Людвига осеняет новая идея — ведь мы едем не совсем так, как полагается. Будет лучше, если пересечь Баденер-штрассе и поискать улицу поудобнее, как можно ближе к кинотеатру. Это вполне возможно, если...

— Если повезет, — мрачно говорит Эрнст. — Я, кажется, сам себя переиграл. Зачем надо было сворачивать на эту дурацкую Ципрессен-штрассе?

Я полагаю, что это он для моего успокоения говорит. А может, в свое оправдание. Я поглядываю на часы — стрелки угрожающе движутся к девяти. Успеем или не успеем? Будет обидно, если опоздаем — уж очень хочется посмотреть фильм. Это что-то насчет происхождения человека, научно-популярное, широкоэкранное, цветное кино и так далее. Может, не так уж важно посмотреть фильм, но когда на что-то рассчитываешь и вдруг это самое, неожиданное — неприятно!

— Опоздаем? — спрашиваю Эрнста.

Ничего определенного сказать он не может... Дважды произносит:

— Пожалуй, я поверну...

И резко сворачивает вправо. Нарушая правила...

Что здесь? Машины, машины, машины. И — ни живой души. Царство металла, бензина...

Медленно едем вдоль немного, сверкающего никелем машинного фронта. На нас глядят безжизненные фары. Словно бы не узнают нас. Но если Эрнст Людвиг намерен приткнуться здесь, то он глубоко ошибается. Яблоку упасть негде, не то что местечко для машины сыскать. Вот какие дела!

— Что мы имеем? — в раздумье вопрошает Эрнст Людвиг. Его взгляд скользит по фасадам домов. — Так, впереди Пеликан-плац. Значит, скоро будет Урания-штрассе. Стоп!

Это из ровного строя машин выезжает ярко-красная «ауди». Но, увы, шофер подает назад, чтобы занять более удобную позицию в строю. Очень жаль!

Мы двигаемся вперед — неторопливо, потом сворачиваем направо, на Урания-штрассе. И что же?

Она просматривается насквозь. Все те же знакомые машинные шпалеры. Да, Урания-штрассе подвела — все забито!

Эрнст Людвиг ведет машину вперед. А на часах уже девять — фильм начался...

— Сколько отсюда до кино? — спрашиваю.

— Минут десять пешком. Но где же заветное местечко? Не там ли?

Эрнст Людвиг нажимает на акселератор, «тоёота» рвется вперед... Нет, напрасная тревога: это небольшой «фиат» некстати затесался... А издали показалось, что свободно одно место...

— Урания-штрассе меня ни разу не подводила, — говорит Эрнст. — Мы сейчас сделаем круг.

Он сворачивает направо, потом едет влево, снова направо, и мы катим вдоль здания вокзала — мрачного, приземистого. Здесь можно было найти местечко, однако оно не интересует Людвигу — до кино далеко.

— Я понимаю, что все забито в Цюрихе, — говорит Людвиг, — к этому всегда надо быть готовым. Но одно место обычно находится...

— А нам больше и не надо, — говорю.

— Верно, не надо. Значит, бог пошлет его. Не может быть, чтобы не нашлось местечко!

— Нам, — говорю, — надо было бы сразу ехать на подземную стоянку.

Мы бы опоздали. Наверняка!

Торопимся по Пеликан-штрассе. Шпалеры здесь как капля воды похожи на остальные — многоцветье машин и ни одного места свободного!

— Вот оно! — кричу. — Вон свободное!

Подъезжаем...

— Нет, — говорит Людвиг, — видите желтую линию?

— Ну, вижу...

— Здесь только для этого подъезда. Вернее, для тех, кто в нем проживает.

— А нам нужен белый цвет?

— Можно белый.

Мы снова оказываемся на Пеликан-штрассе. О стоянке здесь и думать нечего. Едем дальше — опять на Урания-штрассе.

Людвиг зеленеет от злости и берет курс, как он сказал, на Гесспераллее. А почему? Полагаю, чтобы провести время — авось, кто-нибудь уберется с Урания-штрассе...

— А как же кино? — спрашиваю.

— Опоздаем немного, может, впустят.

Я уже теряю всякую надежду. Нет, мы совершили ошибку — надо было ехать на подземную стоянку. Это теперь совершенно ясно!

Эрнст Людвиг стоит на своем:

— Тогда бы наверняка опоздали!

— А теперь?

Он смотрит на часы.

— Есть еще надежда...

— Какая?

— Слабая, правда. Но есть...

Ладно, жителю Цюриха, старому автомобилисту, виднее. И я умолкаю. А в Эрнсте просыпается лев. Он раздражается громкой филиппикой против всяческой урбанизации. На что это похоже?! Зачем эти узенькие улицы и эти железные игрушки, именуемые автомашинами?! Правы те, кто не желает жить в Цюрихе и старается поселиться в маленьких городах и селах! Это же возмутительно — негде автомобиль поставить! Зачем же их изготовлять и продавать людям, если пешком быстрее?! Это же парадокс: скорость сто пятьдесят километров и более, а на часах цейтнот!

Мне становится жаль его.

— Черт с ним, с этим фильмом! — говорю. — Пройдемся по набережной озера, поглядим на вечерний Цюрих.

— Нет, я полный идиот! — корит себя Людвиг. — Надо было пораньше выехать.

— Ничего страшного. Погуляем, а потом в ресторанчик.

— Но я-то должен был учесть!

Он снова делает круг, насколько понимаю, пытаюсь вновь попасть на Урания-штрассе.

— Ей-богу, игра не стоит свеч! Давайте на берег озера.

— Попробуем еще разок!

Эрнст Людвиг въезжает на Урания-штрассе. Едет медленно-медленно.

— Там! — вскрикивает он.

«Тоёота» делает прыжок, и мы уже в конце Урания-штрассе. Здесь действительно кто-то выезжает, и мы немедленно занимаем соответствующую позицию, чтобы отразить любого, кто попытается помешать нам занять освобождающееся место. Наше, наше кровное, доставшееся после тяжких трудов и треволнений место!

Проворство Людвига можно и нужно оценить, потому что за нами уже поспешает «мерседес», а впереди нас задним ходом движется «ауди» золотистого цвета. А за этими двумя машинами еще две, нет, три! — словно стервятники.

Но нет, дудки! Эрнст Людвиг рассчитал железно: едва машина покинула свое место, как мы уже на тепленькой стоянке.

— Уф! — отдувается Людвиг.

Кинул голову на подголовник, прикрыл глаза. Затем выскочил из машины, подошел к столбику со счетчиком, что у края тротуара.

Вылезая из машины и я.

— Всего-то на час этот счетчик. — Он выскивает в кошелек монету.

— У меня есть франки, — говорю я. — Может, нужна двухфранковая монета?

— Нет, спасибо, все в порядке.

Он опускает монету. Делает глубокий вздох. Мне кажется, что он немного изменился в лице.

— Вам плохо? — спрашиваю.

— Да нет, не особенно. Немножко покалывает здесь. — Он тычет пальцем в грудь.

— Может, погрызете валидол?

— Спасибо, у меня есть кое-что...

Он достает из пиджачного кармана флакон с таблетками.

— Что это?

— Успокоительное... Снимает напряжение... Хорошо при стрессовых состояниях...

Я достаю валидол и грызу сразу парочку — так лучше при этих самых стрессах.

Эрнст Людвиг делает глубокие вздохи. И я тоже дышу глубоко-глубоко...

— Меня словно бы из воды вытащили, — признается он.

— Неполадки с сердцем?..

— Просто наследие урбанизации, черт бы ее подрал! Сейчас будет лучше...

Вечер прохладный. Чувствуется близость цюрихского озера. И, наверное, кой-какие воздушные потоки соскальзывают в долину с этих снежных альпийских вершин...

— Что будем делать? — говорит Эрнст Людвиг.

— Половина десятого?

— Да.

— До кино далеко?

— Минут... — Людвиг прикидывает: — ...пятнадцать...

— Оно теперь ни к чему... — говорю.

— И я такого же мнения.

Ему жаль расставаться со стоянкой.

— Так и уедем? — говорит он уныло.

— А что?

— Нет, я просто так...

— Так и уедем! — говорю я не без досады.

Цюрих — Москва

«ТОТ САМЫЙ ЧУДАК?»

Теплый денек выдался в Казани ранней весной 1855 года. Хотя земля все еще хранила немалые остатки зимних стуж, воздух был поиптительно ласков и над городом полыхало почти летнее солнце.

Из главного подъезда университета неторопливо вышли трое и направились в сторону правого крыла здания, своими огромными колоннами напоминавшего древнегреческое строение. Это были уже немолодой сорокалетний профессор математики Паевский, коренастый, не по годам полный адъюнкт Каюров и его сухощавый коллега в оловянных очках адъюнкт Адлер — тоже математики. Они прошагали до конца каменного тротуара и остановились, чтобы попрощаться и на прощание перекинуться двумя-тремя подобающими в таких случаях словечками.

Однако профессор Паевский повернулся в сторону колонн и сказал:

— Господа, вы видели?

Адъюнкты тоже оборотились к колоннам. Они не совсем понимали, к чему относился профессорский вопрос — к колоннам, широким ступеням лестницы или еще к чему-то? Адлер поправил очки — может, из-за них он не увидел нечто важное?

— Посмотрите, господа, кто стоит вон там, у колонны? С дамой.
Да, действительно, у третьей от угла здания колонны стоял мужчина, а рядом с ним женщина.

— Вы узнали? — продолжал Паевский.

— Нет, Григорий Алексеевич, — сказал Адлер. — А что?

— А вы, Петр Иванович?

Адьюнкт Каюров ничего особенного не усматривал в том, что у колонны в теплый денек стоит какой-то старичок с пожилой женщиной — просто греются на солнце.

— Они с кем-то разговаривают, — сказал Адлер, — его плохо видно из-за колонны.

Вскоре этот третий сошел по ступеням на тротуар и направился в сторону математиков, словно хотел присоединиться к ним.

— Да это же дядя Гильмутдин! — сказал Каюров. — Он-то уж, наверное, знает, с кем только что разговаривал.

— Как с кем? — сказал профессор. — Если не ошибаюсь, у колонны стоит господин Лобачевский.

— Лобачевский? Тот самый чудак?.. Который вознамерился уличить Евклида во лжи? — удивился Каюров. — Разве он жив?

— А разве он умер? — возразил Паевский. — Я что-то не слышал об этом...

Каюров пожал плечами.

— Кажется... Да нет, пожалуй, он жив, — неуверенно сказал он.

— А мы сейчас спросим у дяди Гильмутдина... Дядя Гильмутдин! — окликнул сторожа профессор Паевский.

Рыжий длиннорылый татарин застыл на полушаге, затем любезно поклонился, приложив ладонь правой руки к сердцу.

— Дядя Гильмутдин, с кем вы только что разговаривали?

— Счас? — спросил татарин.

— Вон там, у колонн?..

— Тама?.. Это профессор была...

— Какой профессор?

Дядя Гильмутдин немножко смутился: разве этим господам не ясно, какой профессор? Разве это надо объяснять?..

— Который зала висит! — выпалил дядя Гильмутдин.

— В каком зале?

Сторож указал рукою на здание университета:

— Большой зала... там патрет висит...

— Что я говорил? — сказал профессор. — Конечно же, это господин Лобачевский...

— Он, он! — подтвердил дядя Гильмутдин. — Я знаю!

— А эта дама кто?

— Дама!.. Его женщина... А он совсем слепой. Только солнце видит. — Сторож ткнул пальцем в небо. — Глаза, как ночь, совсем черный стал...

— Стало быть, он видит только солнце?

— Толька, толька!..

— А что, дядя Гильмутдин, делает здесь господин Лобачевский?

Дядя Гильмутдин подошел поближе, словно опасаясь, что его услышат Лобачевские:

— Я все знаю... Все!.. Он, его жена совсем без денюга... Пустой карман... Он говорил свой дочка: «Иди, дочка, ректор, он скажет, сколько царь-бачка денюга дал».

— Так он ждет денюг? — сказал Адлер.

— Вероятно, пенсию, — предположил профессор.

Дядя Гильмутдин быстро-быстро закивал головой:

— Пенсий, пенсий!

— Так что же сообщил ему ректор, дядя Гильмутдин?

— Ректор?.. Ничиво! Дочка пошел, пока не пришел. — Дядя Гильмутдин достал из кармана копейку и показал ее математикам: — Денюга совсем нет! Копейка карман нет! Пустой совсем. Я все знаю...

— М-да, — промолвил адъютант Адлер.

— Может, вдобавок он и помешался? — спросил профессор. — Ведь об этом упорно говорят...

— Он? — сказал дядя Гильмутдин. — Конечно, если карман совсем чистый...

— Дело не в кармане, дядя Гильмутдин.

Татарин внимательно оглядел математиков. И сказал уверенно:

— Карман — большой дела! Карман пустой — хлеб нет. Хлеб нет — жена плачет, дети плачет... Очень плоха — пустой карман! И еще слепой глаз, совсем, как ночь, слепой... Он писал царь-бачка, денюга просил... Сейчас дочка скажет, сколько денюга прислал...

Лобачевские недвижно стояли у огромной колонны, их лица были обращены в сторону главного входа, откуда должна была появиться с вестью их дочь Софья...

— Спасибо, дядя Гильмутдин! Извините, что задержали вас.

— Ничиво, — сказал татарин и удалился.

Профессор обратился к своим коллегам:

— Да, стало быть, тот самый чудак... А дядя Гильмутдин по своему простодушию сильно упрощает дело. Не столько повинны денюги, сколько это самое... — Профессор подбирал подходящее слово.

— Идефикс, — подсказал Каюров.

— Вот именно! Однако не всякая идефикс наносит вред лицу, породившему ее. Господин Лобачевский решил всех переплюнуть. Вот в чем беда!

Адъютант Адлер высказался в том смысле, что само по себе стремление «всех переплюнуть» не столь уж зловредно. Разве Ньютон не сделал это же самое? А что сказать о Копернике? Разве Галилей был скромником в науке?..

— Не надо путать вещи, — наставительно сказал Паевский. — Перед нами, — он посмотрел на колоннаду, — как раз тот самый случай, когда помыслами движет гордыня, а не здравый смысл.

— Григорий Алексеевич, — сказал Адлер, — позвольте не соглашаться с вами. Если говорить о господине Лобачевском, то его сторонники, если таковые найдутся, конечно...

— Вот именно, если найдутся! — сказал Паевский.

— ...Его сторонники могут напомнить о его заслугах... Скажем, о вкладе в научную деятельность университета во времена его ректорства. А ректорство продолжалось ни много ни мало чуть ли не двадцать лет... Скажем, о его геройстве во времена холеры. Я это знаю по рассказам. Говорят, он спас и студенчество и профессию от страшной эпидемии. Ценою риска, ценою мужества. Во всяком случае, так говорят. Да и ордена, господа, даются не просто. Орден святой Анны первой степени со звездой, орден Святого Станислава... Мы прекрасно знаем профессора мирзу Казембека... Он посвятил свою работу господину Лобачевскому — и это неспроста. Я сказал только часть того, что могут выставить в защиту профессора Лобачевского его поклонники.

— Поклонники? — Профессор Паевский улыбнулся.

— Ну, может, сказано слишком громко, — отступил Адлер.

— Именно, именно, Карл Осипович! Надеюсь, вы не входите в их число?

— Нет, не вхожу.

— Ну и слава богу!. Господа, дело вовсе не в том, каковы заслуги Лобачевского в университетском деле или при холерной эпидемии. Речь о другом. Нельзя выворачивать наизнанку человеческий разум. А он это попытался. Разумеется, безуспешно. И, как всякий фанатик, теперь расплачивается за содеянное.

Непонятный жест адъюнкта Адлера чуть не вывел из себя профессора.

— Что вы можете возразить, Карл Осипович? — повысил голос профессор. — Если сам Гаусс не сказал ни единого слова в защиту Лобачевского? Если сам академик Остроградский не понял Лобачевского? Давайте будем объективными. Значит, так — Эвклид сформулировал свой пятый постулат: параллельные линии существуют в природе, и они не пересекаются! Да-с! Неужели это требует доказательств? И каких, господа? Вы можете возразить: а что ж Птолемей и Омар Хайям, что же Прокл и Насреддин Туси, что же Лейбниц, Лагранж и другие? Да, они усомнились в том, что пятый постулат Евклида не постулат, не аксиома. Усомнились — и что же дальше? Я спрашиваю: что же дальше?

Адъюнкт Каюров пощупил:

— Дальше сумасшествие.

Паевский подхватил его мысль:

— А больше и ничего! Янош Больяй был вполне нормальным? Не убеждайте меня в противном! Его мысли совпадают с утверждениями автора «О началах геометрии», то есть Лобачевского. Но что из этого следует? Что Лобачевский прав? А может, наоборот? Ведь Больяй тоже не получил благословения великого Гаусса. А вы говорите!.. Возьмем Римана. Это же больной человек... Если кто и станет утверждать, что его фантазия где-то пересекается с фантазией Лобачевского,— это совсем не в пользу последнего.

Каюров сказал:

— Действительно, атаки против Евклида кажутся весьма странными. Можно подумать, что был он дурак. Господа, взгляните на этот тротуар... Вот он тянется вдоль всего фасада, тянется на много саженей. Но ведь он же не суживается. А почему? Потому что пятый постулат — непрекаемая истина.

— Что верно, то верно,— решительно поддержал его Паевский.

Адьюнкт Адлер сказал, выбрав предельно мягкий тон:

— Господа, плачевное состояние Николая Ивановича Лобачевского, ожидающегося милостыни, невольно привело наш разговор к научному диспуту. Я отнюдь не принадлежу к тем, кто смеет отрицать пятый постулат...

— Посмели бы! — едко заметил Паевский.

— И сместь не стану! Зачем? Человечество тысячи лет жило в мире евклидовой геометрии и проживет еще тысячи лет. Я в этом уверен. И нечего бездумно разрушать очевидную гармонию.

— Весьма справедливо,— похвалил Паевский.

— Благодарю вас, Григорий Алексеевич. Но попытка в чем-то усомниться разве есть ересь?

— В чем-то, Карл Осипович? — Каюров развел руками. — Речь идет об основе, а не о чем-то малозначащем...

— Какой основе, Петр Иванович?

— Об основе основ!

— Разве погибнет мир, если пятый постулат превратится в теорему?

— Вы опять за свое!

— Нет, я просто спрашиваю.

В диалог адьюнктов вмешался Паевский:

— Просто о столь важных вещах не спрашивают, Карл Осипович. Если о белом говорят «черное», — как это прикажете понимать? Если геометрия, геодезия, картография, астрономия, наконец, принимают пятый постулат безоговорочно и основывают на нем свою работу, притом успешно,— о чем это говорит? Ведь человек при здравом рассудке не может белое принимать за черное и наоборот. Ведь не может? — Вопрос обращен к Адлеру.

— Не может, Григорий Алексеевич.

— Что и требовалось! А что же эти господа — Лобачевский, Риман, Больяй? Они же руку подняли на священное для нас, математиков. Они же запустили руки в святая святых не только геометрии, но и математики вообще и в самую душу нашу! И как прикажете все это воспринимать? С благодарностью? Стало быть, спасибо тем, кто призывает нас мыслить шиворот-навыворот? Так, что ли?

— Нет, не так, — говорит Карл Осипович.

— Не так, — говорит Каюров.

После небольшой передышки, которая удержала профессора в рамках ученого диспута, Паевский сказал:

— Не подумайте, что я злорадствую по поводу несчастной судьбы Николая Ивановича Лобачевского. Правда, я не имею чести знать его близко — разница в годах слишком велика. Да ныне и эпоха не та. Ведь свое так называемое открытие он сделал еще в двадцать шестом году...

— Он и ныне его придерживается, — вставил Адлер.

Профессор посмотрел на него недоумевающим взглядом:

— И поныне? Гм... Он держится своего мнения и поныне? Взгляните на этого старика, господа. Невольно приходят в голову лермонтовские стихи: «Смотрите ж, дети, на него: как он угрюм, и худ, и бледен! Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его!» Однако добавлю от себя: мне его жаль.

— Вот идет к ним девушка, — сказал Каюров.

— Не дочь ли?

— Возможно.

— Давайте, господа, подойдем поближе, может, узнаем что-либо о дальнейшей судьбе Николая Ивановича...

Математики пошли по тротуару, держась поближе к колоннам. В тот самый момент, когда они почти поравнялись с четой Лобачевских, дочка подошла к родителям. И математики услышали резкое слово «отказ».

Жена приложила платок к глазам, а Лобачевский как глядел на солнце, так и остался в этой позе. Словно не его касалось злое слово «отказ».

Математики пошли прочь...

Спустя много лет Дмитрий Менделеев, как бы вторгаясь в научный диспут казанских ученых, напишет такие строки: «Геометрические знания составляют основу всей точной науки, а самобытность геометрии Лобачевского — зарю самостоятельного развития науки в России...»

Казань — Москва

СКРИПАЧ НА УЛИЦЕ

Он сошел на тротуар вместе со щеголеватым майором Камилло Вакани. Майор как майор: розовощекий здоровяк, подтянутый, среднего роста — мало ли таких в этой чудесной Вене!

А вот этот, который на полшага впереди него, — экспонат для паноптикума. Судите сами: худющий — кожа да кости! — бледнолицый, чтобы не сказать восковолицый, с горящими, черными-пречерными зрачками и черными-пречерными волосами, доходящими до плеч. Костюм на нем, как на скелете, и легкое пальто тоже, как на скелете. Все в нем непостижимо марионеточное, словно кто-то водит его на невидимых веревочках... Ба! Да это же сам Паганини, скрипач-виртуоз, от игры которого походила с ума вся Вена. Его легко узнать по газетным описаниям, портретам в витринах кондитеров, по карикатурам и повсеместным уличным разговорам.

Извозчик, хитровато улыбаясь, сказал:

— Пять гульденов.

— Сколько? — спросил Никколо Паганини майора.

— Пять гульденов, — перевел майор скрипачу, не знавшему немецкого языка.

— Пять?! Да он с ума сошел! Всего же два шага!

— Синьор, — сказал извозчик по-итальянски, — Паганини играет на одной струне, а берет тоже пять. А у моего экипажа целых четыре колеса.

— Итальянец? — улыбнулся Паганини. — Ладно, поезжайте. А вот вам билет на мой концерт.

Извозчик прижал билет к груди.

— За это большое спасибо, синьор Паганини! — и хлестнул лошадь.

— А здесь хорошо, несмотря... — обратился Паганини к майору. Тот кивнул.

— Несмотря... — Маэстро поднял кверху указательный палец, и лицо его еще больше побледнело.

Майор понимал, о чем эта недоговоренная фраза: об этой сумасбродной Бьянке, о маленьком сыне Акилле, в котором маэстро души не чаял.

Паганини взял с собою в Вену жену и сына, полагая, что на чужбине так будет лучше. А вышло все наоборот. То есть все дурное, что угадывалось в Бьянке в Италии, здесь вылезло наружу и расцвело махровым цветом. Ежедневно скандалы! По любому поводу. С ума походила совсем эта Бьянка. Нет, надо рвать и рвать все поскорее...

— Бог даст, все образуется... — проговорил майор.

— Нет,— жестко сказал Паганини.— Нет! С нею все будет покончено. Здесь же! В Вене! Я выгоню ее. Я больше не в силах выносить ее сцены. Бедный Акилле!

Камилло Вакани был в курсе семейных неурядиц маэстро. Он сопровождал своего друга к некоему нотариусу, чтобы посоветоваться относительно Акилле. Никколо Поганини разведется с Бьянки, но ни за что не отдаст своего Акилле. Пусть она потребует сколько угодно денег — ничего не пожалеет. В конце концов, что может дать Акилле дура Бьянки? У нее на уме только одно: деньги, деньги и еще раз деньги! Нет ей дела ни до его скрипки и концертов, ни до струн и его пальцев, до души и до сердца. Нет, вопрос с Бьянки решен!.. Нужны только советы нотариуса — как все это совершить поскорее...

Майор достал часы: надо поспешить к нотариусу, который ждет в одиннадцать.

— Эй, милейший!— обращается майор к извозчику.— А что, если поторопить твою лошадку?..

— Можно!— откликается итальянец, и хлыст его уже свистит.

Маэстро мрачный. Взгляд его уперся в собственный башмак. Горбатый нос опустился до самого галстука — аж подбородка не видно.

Камилло Вакани глядит по сторонам: теплый мартовский денек... Дамы успели переодеться в легкие одеяния... Мужчины фланируют без пальто... Мальчишки лакомятся жареными каштанами...

Майор говорит:

— Смотрите, смотрите...— и указывает на кафе, над дверью которого красуется огромная надпись: «Здесь имеются пирожные а ля Паганини».

Маэстро вроде бы все безразлично.

— Это большой успех!— восклицает майор.

Извозчик поворачивается к Паганини:

— Можно я назову свой фиакр «а ля Паганини»?

— Валяйте,— говорит маэстро глухим голосом. И вдруг спохватывается:— Постойте!.. Остановитесь здесь!

Майор удивлен: что это стряслось?

— Видите?— спрашивает маэстро.

На тротуаре, у водосточной трубы стоит мальчик и пикирует на скрипке.

— Видите?— повторяет вопрос Паганини.

— Уличный музыкант,— говорит майор.

Мгновение — и маэстро соскакивает на мостовую. Он стремительно шагает к мальчику — такому худенькому, лет десяти. Подымает шапку с земли, смотрит в нее, а в ней — ни гроша.

— Спросите его,— говорит маэстро подошедшему майору,— кто он и почему играет на улице?

— Почему? Очень просто: мать больна, дома младшая сестренка, нужны деньги... Только и всего...

Паганини всматривается в веснушчатое мальчишечье лицо, в серые, тоскливые глаза и вспоминает другого... некоего Николауса, Никола или Никколó... такого невзрачного, такого худенького, такого бледного, немощного из переулка Черной кошки в Генуе. Правда, внешне совсем не похожего на этого... И все же: глядит на юного венца, а видит себя как в зеркале...

— И давно ты тут?— спрашивает мальчика маэстро.

— С утра.

— И ни одного гульдена?

Мальчик перестает играть. Глазами показывает на шапку.

— А где отец?

— Он пьет.

— Как? Прямо с утра?

— И до вечера.

— Увы!— вздыхает майор.— И такое случается в прекрасной Вене.

— И не только в Вене,— мрачно замечает Паганини.— Мальчик, дай-ка мне скрипку.

Майор озадачен:

— Зачем она вам?

— Буду играть.

— Как? Здесь?

— Именно! А вас попрошу принять эту шапку... Живее... живее, Вакани!

Майор с неохотой берет тряпичную шапку, скажем прямо, не первой свежести.

Паганини пытается настроить скрипку. В какой-то мере это ему удается. Впрочем, это и не важно — не всегда же играть на «гварнери». Надо вспомнить — и не забывать! — такую, как эту, тоже.

На улице происходит необычное: прохожие замедляют шаг, прислушиваются, присматриваются. Венцы — народ музыкальный, избалованный музыкой, притом хорошей, отличной, великой. Только что что-то пиликало у водосточной трубы, что-то попискивало вроде воробьиного птенчика, и вдруг... Да, нет же, что-то не просто здесь, у водосточной трубы... Какие-то звуки... Волшебными их не назовешь, но есть в них нечто особенное... Но что?

Понемногу собирается толпа... Она все увеличивается... Позвольте, кто это играет? Такой худющий, такой неуклюжий, изгибающийся, мечущий молнии из пречерных глаз.

Кто-то говорит довольно громко:

— Такие звуки из этой скрипочки? Какой-то фокус!

Веснушчатый мальчик глядит на странного дядю снизу вверх. Толком не понимает, что же это, отчего дядя так понравилась его скрипка с трещиной на деке?..

Паганини начинает приспосабливаться к скрипке, с каждой минутой ему легче справляться с нею. Плохо наканифоленный смычок, правда, пыгается извлечь звуки из струн, но не совсем такие, какие нужны. Но ничего, дефекты инструмента и смычка будут возмещены искусством скрипача.

Маэстро, угадав наконец предельные возможности инструмента, выбирает одну из своих редких вещей, которые написал еще в юности. Тогда у него не было «гварнери», а была простая скрипка, купленная отцом на последние деньги...

Венцы признают знаменитого гостя. Можно закрыть глаза и по игре определить кто это. Даже при игре на такой игрушечной скрипке, которую дарят детям, делающим первые шаги в музыке.

— Ведь это же сам Никколо Паганини!

Кто это сказал? Какой-то полный господин с трубкой в зубах.

— Сам Паганини? — спрашивает его сосед, чтобы окончательно удостовериться в этом.

— А разве не слышите?

— Верно, что-то необычное... Это так!.. Но чтобы сам? У водосточной трубы?

— Представьте себе — сам!

Извозчик тоже тут как тут. Он весело объясняет:

— Это мой пассажир. Вот билет: сам мне подарил. Билет в театр, где будет играть. Это мой земляк — Никколо Паганини.

Извозчик показывает билет пораженным венцам.

Попасть на академию, то есть авторский концерт Паганини, — предел мечтаний каждого венца. Приезда маэстро ждали здесь с нетерпением. Первые концерты были встречены с восхищением, граничившим с безумием. И это в Вене — великой музыкальной столице Европы! Сам Франц Шуберт — такой славный, в очках, с брюшком, на коротких ногах — сказал, что Паганини — явление неземное. На деньги, которые были на исходе, он купил билеты и до боли в ладонях аплодировал Паганини. Фишоф, говорят, уже написал «Марш а ля Паганини», Михеуз — скерцо и каприччо на темы Паганини, а сам Штраус — «Вальс а ля Паганини». Куда ни кинешь взор — везде Паганини: бисквиты — «Паганини», торты — «Паганини», скатерти в ресторанах с изображением Паганини, шляпы — «а ля Паганини». И этот самый Паганини — вдруг у водосточной трубы!

Один господин — высокий, в оловянных очках — говорит своему соседу:

— Я слушал его. Это, конечно, он. Потрясающе!

— Почему играет на улице?

— Почему? А мальчика не видите?

— Понятно...

И тут, словно бы подслушав их разговор, Паганини подает знак Вакани. Майор обходит толпу с шапкой в руке. В нее сыплются монеты, словно град.

А Никколо Паганини играет, никого уже не замечая, играет для себя. Скрипка его не раздражает — хорошо приуровнился к ней. Она теперь, так же как «гварнери» на больших концертах, — часть его самого. Кровь идет от сердца к скрипке и снова возвращается к сердцу. Скрипка должна жить. Впрочем, как и смычок. Скрипач и скрипка — всегда одно целое. Одно общее у них кровообращение. Иначе невозможно.

Майору Вакани хочется напомнить маэстро, что время идет, нотариус, наверное, заждался. Но майору хорошо известен нрав Паганини: когда в руках у него скрипка, ничего другого нет на свете! В такие мгновения лучше не подступаться...

А владелец фиакра рассказывает:

— Он итальянец, и я итальянец. Мы понимаем друг друга. А он немецкий — нет. Он со мной заговорил через этого господина... Вон того майора, который с шапкой по кругу ходит. «Сколько, — спрашивает, — за проезд?» Пять гульденов, отвечаю. «Дорого», — говорит он. А я говорю: разве господин Паганини дешевле продает свои билеты? Я говорю: он на одной струне играет, а у моего фиакра — четыре колеса и все крутятся... Тут все и выяснилось. Он подарил мне билет...

— И вы пойдете на концерт?

— Еще бы! Мы, итальянцы, любим музыку. Особенно, когда итальянец играет.

— А как же он очутился на тротуаре?

— Увидел бедного мальчика — решил помочь. У нас, у итальянцев, сердобольные сердца.

И в это самое время Паганини заиграл на одной струне. Струна, разумеется, была не такая, как на «гварнери», но венцы тем не менее заслушались. Потом раздались аплодисменты. И еще аплодисменты. Настоящая овация, как на настоящем концерте.

Майор вернулся к мальчику у водосточной трубы, высыпал ему в карман деньги — целую кучу денег. И стал рядом с маэстро.

Солнце стоит в зените. Вся улица залита светом и теплом. Приятный денек. Но самое удивительное в этот мартовский день 1828 года — импровизированный концерт великого маэстро. Просто не верится, что все это наяву. Каждому хочется как можно ближе протиснуться к водосточной трубе. Завидуют веснушчатому мальчику, мать которого болеет и оттого так везет ему...

Майор Вакани поглядывает на часы: сколько же будет играть Никколо Паганини? Не весь же день!

А толпа все увеличивается — экипажам трудно проехать по улице. Наконец маэстро делает последнее резкое движение смычком и бережно отдает инструмент мальчику. Потом забирает у него шапку и сам обходит толпу, углубляясь в нее, делая широкий круг.

Бледный, худущий человек идет медленно, не торопится, подходит к каждому. Он это делает так, словно всю жизнь ходил с шапкой по кругу. Монеты со звоном падают в шапку.

Маэстро такой сосредоточенный, такой отрешенный, когда играл у водосточной трубы, теперь улыбается, мягко произносит по-немецки слово «спасибо» и продвигается вперед, все вперед.

Пройдет немало времени, прежде чем вручит он шапку с деньгами растерянному мальчику.

— Ты доволен? — спрашивает его маэстро.

Камилло Вакани повторяет вопрос по-немецки.

Мальчик мигает глазами.

— Кто он? — спрашивает он, глядя на скрипача.

— А разве не знаешь?

— Нет.

— Запомни: Никколó Паганини.

Мальчик молчит.

— Беги же домой, — советует ему майор. — И расскажи маме все, как было.

— Расскажу, — шепчет мальчик.

— И запомни этот день.

Мальчик кивает.

Толпа почтительно расступается, пропуская Паганини к фиакру.

Вена — Москва

ПОХОРОНЫ МУЗИКМЕЙСТЕРА

В трактире «Серебряная змея» привратник Иосиф Дайнер услышал печальную новость: умер музикмейстер господин Моцарт. Да, тот самый: щуплый, болезненный, неказистый посетитель трактира. Тот самый, что садился в угол и медленно пил кружку молодого вина. Как же, как же! Иосиф Дайнер хорошо знал музикмейстера. И не раз угощался на его счет. Славный был человек! А в последнее время вся Вена повторяла название его оперы: «Волшебная флейта!», «Волшебная флейта!»

Было раннее утро. Серое.

Сырая погода — шел дождь пополам со снегом.

С берегов Дуная дул противный северный ветер. Он пронизывал все живое насквозь.

— Я должен пойти к нему, — сказал Дайнер. И вышел на узенькую улицу. Ему было уже за пятьдесят, — такой чернявый, низенький, нос картошкой.

Отсюда, от трактира, до дома музыкмейстера на Рауэнштайнгассе, номер 970 — совсем недалеко. Но нынче это расстояние удесят�еряется из-за этой проклятой декабрьской непогоды. Снежинки так и норовят забраться за шиворот. А ветер? Он ярится сверх всякой меры, каждый шаг достается с трудом, — пытается сбить тебя с ног, свалить на скользкий тротуар.

Дайнер живо подымается по узенькой лестнице, стучит в дверь. Ее отпирает молодой человек, ученик и друг музыкмейстера господин Зюсмайер. (А полное имя — Франц Ксавер Зюсмайер).

— Это правда? — волнуясь, говорит Дайнер.

— Увы! — вздыхает Зюсмайер. — Входите, господин Дайнер.

Довольно просторная комната. По правую руку — постель, теперь уже ненужная. В левом углу — клавесин. Посередине комнаты на столе — словно из воска вылепленный музыкмейстер.

— Когда? — спрашивает Дайнер.

— Ночью. Без пяти час.

Где же супруга его, госпожа Констанца? Ее нет. Нет и ребятишек. Зюсмайер объясняет: по совету господина ван Свитена — богатого мецената — она с детьми уехала к знакомым...

— И оставила его? — Дайнер кивает на покойного.

Зюсмайер пожимает плечами:

— Она сказала, господин Дайнер, что не в состоянии смотреть на мертвеца. Ее можно понять: очень любила его.

Теперь пожимает плечами привратник Дайнер. Он шепчет:

— Бежать от покойного супруга? Я не очень образован и потому, наверное, понять этого не могу. Оставить одного? Совсем одного?

— Мы с вами здесь, возле него, — говорит Зюсмайер.

Дайнер приметил гроб. Его уже успели привезти. Но боже, что это за гроб?! Совсем простой, грубо обструганный, выкрашенный в черный цвет... Привратник вопросительно глядит на Зюсмайера...

— Так посоветовал ей сам ван Свитен. Учтите, господин Дайнер: всего двести гульденов в наличии и три тысячи долга.

— Это у него-то? — не веря Зюсмайеру, произносит Дайнер. — Это у того, кто создал «Свадьбу Фигаро», «Дон-Жуана» и «Волшебную флейту»?

— Увы!

— Господин Зюсмайер, если не ошибаюсь, директор Шиканедер нажил на «Флейте» целое состояние...

— Да, наверное...

— Где же он сейчас, в эти часы?..

— Не знаю.

— А он явится сюда?

— Не знаю...

Вот оно как! Значит, господин музыкмейстер на этом свете был почти один, совсем один?! Тот самый музыкмейстер, который еще в детстве удивлял всю Европу, которого с удовольствием слушали князья, бароны, курфюрсты и короли?

— Как это жестоко, — шепчет Дайнер.

Однако что же делать? Зюсмайер и Дайнер уговариваются так: он, Зюсмайер, сбегает к ростовщику и выкупит подсвечники, заложенные Моцартом, а Дайнер приготовится, чтобы обмыть покойного...

— Да, да, — шепчет расстроенный Дайнер. — Совсем недавно я увидел его в трактире, в углу, на привычном месте. Перед ним стояла кружка вина. Но он не пил. Сидел совсем бледный... Жаловался на боли в спине...

— Он страдал почками, — говорит Зюсмайер.

— Я сказал музыкмейстеру: вы плохо выглядите, это, наверное, от усталости в Праге. Он покачал головой... «Нет, — говорит, — доктор Клоссе все сваливает на мою хворь... Давнишнюю хворь»... Он так и не прикоснулся к вину, господин Зюсмайер. Угостил меня и удалился...

Через час Моцарт — обмытый и принаряженный — лежал в простом, грубо сколоченном сосновом гробу. В голове и ногах горели свечи. Зюсмайер и Дайнер стояли возле молча. Было тихо в комнате, тихо и очень прохладно.

А на улице всю гулял ветер, закручивал снежинки, и время поливал мостовую настоящим дождем, почти ливнем. Какое-то столпотворение в природе — давно не помнили такой зимы.

Моцарт лежал умиротворенный — нет на лице и следов мучительной болезни, следов забот и постоянного труда. Словно спит. Только нос стал длинней, лоб блее снега и губы с синевою...

Где его близкие друзья — Гайдн и да Понте? В Лондоне, далеко отсюда... Сестры Наннерл — в Зальцбурге. И несколько друзей в Вене — огромном, веселом городе. Но и их нет поблизости... Один, совсем один музыкмейстер!..

— А все-таки они придут? — спрашивает Дайнер.

— Да, — отвечает Зюсмайер, не сводя глаз с покойного учителя. — Наверное, придут... Ведь в три часа отпевание...

— Где?

— В соборе святого Стефана.

Это совсем близко отсюда — два шага...

Зюсмайер вспоминает вчерашний день. Моцарт все время говорил о «Волшебной флейте», которая с успехом шла в театре на Видене. Точнее сказать, с большим успехом. Все радовались, говорили: вот начало немецкой оперы! Но были и хулители... И не в последнюю очередь Сальери, его подруга певица Катерина Кавальери и посредственный музыкант Леопольд Кожелух. Этим все казалось не так и хотелось чего-то другого... А чего, собственно? Мало «Волшебной флейты»? Не говоря уже о прочих вещах музыкмейстера...

Пришли, значит, вчера к Моцарту Зюсмайер, Хофер, Шак, Герл. Была и Констанца с детьми. Больной попросил спеть «Реквием» (так и неоконченный). С удовольствием пели Герл, Хофер, Шак и сам Моцарт.

— Это моя вершина,— говорил Моцарт со слезами на глазах. Но это, наверное, не так: вершина — все-таки «Волшебная флейта». Это точно! И недаром вцепился в нее сам Шиканедер.

Потом все разошлись и с Моцартом остался Зюсмайер. К вечеру больному стало совсем худо. Зюсмайер бросился искать доктора Клоссе. Его нашел в театре. Однако доктор досмотрел спектакль и явился поздно. Больной горел, точно был объят пламенем. Клоссе велел приложить ко лбу холодный компресс. Тут Моцарт потерял сознание и больше в себя не приходил...

Иосиф Дайнер решает про себя, что квартира совсем не такая, какой представлял себе: ведь в ней жил сам музыкмейстер Моцарт! Что, разве не так?! И если бы не этот шикарный клавесин, то вполне можно было допустить, что здесь прозябал нищий человек...

Было далеко за полдень, когда в комнату, стуча каблуками, не раздеваясь и даже не снимая шапок, вошли двое похоронщиков — дюжие детины под хмельком. Они внимательно осмотрели помещение, искоса поглядели на гроб. Им все было ясно: тут не разживешься — хоронят какого-то нищего. Это и по гробу видно...

— Как быть?— спросил Зюсмайер Дайнера.

— Пора выносить, что ли?

— Можно и здесь дожидаться. А можно и в церкви...

Дайнер не знал, что ответить. Было бы лучше устроить вынос при стечении друзей. Но где оно, это стечение? И будет ли вообще?

— Вчетвером вынесем?— Зюсмайер посмотрел на похоронщиков.

— Его?— пробасил один из них.

— Вполне,— сказал другой.

Зюсмайер решил:

— Будем выносить. Остальных дождемся в церкви.

Он погасил свечи.

— Потом дайте мне возможность запереть дверь снаружи.

— Отчего же, запирайте себе на здоровье,— пробасил похоронщик.

Гроб накрыли крышкой и вынесли в прихожую, оттуда — на лестницу. Зюсмайер запер дверь последней квартиры музыкмейстера. (А предпоследняя находилась недалеко отсюда, на Шулер-штрассе)...

Гроб погрузили на дроги, и процессия пошла к собору святого Стефана, не к главному нефу, как предполагал наивный Дайнер, а к северному приделу. Здесь под высокими сводами гроб вовсе затерялся вместе с горсткой людей.

К трем часам явились Сальери, свояки Моцарта — Хофер и Ланге, барон ван Свитен, Розер, Орслер... Пришли почтить память музыкмейстера еще трое актеров из театра на Видене.

— А где же Шиканедер?— спросил Сальери.— Мы не подождем его?

Барон ван Свитен с таким же вопросом обратился к Зюсмайеру.

— У меня нет никаких сведений на этот счет.

— Может, дождемся?— Ланге посмотрел на Хофера.

— Директор, видимо, очень занят,— сказал Хофер.

— Подождем еще немного.

Дайнер снова убедился в том, что похороны обставлены крайне бедно. Неужели для музыкмейстера не нашлось певчих? Отпевание без хора? А где органист? Неужели не будет и органа? Все это было удивительно и непонятно. Привратник посмотрел на покойного музыкмейстера и подумал: «Неужели так досадила всем, что?..»

Нет, Эммануил Шиканедер так и не пожаловал. Констанца Моцарт, урожденная Вебер, тоже не явилась — она нездорова, она просто не в состоянии быть на столь огорчительной церемонии. Ее сестер тоже нет — они заняты... Теща музыкмейстера Цецилия Вебер сделала все, чтобы на похоронах не было ни одной из ее дочерей... Зюсмайеру хочется как-то объяснить происходящее, кое-что сгладить:

— Погода, господа, какая погода.

— Сама природа оплакивает ужасную потерю.— Это говорит Сальери, и слезы сверкают на его глазах. Голос у него прерывается.

Капеллан принимается за дело: его слова теряются под сводами, среди толченных стен и пилонов. Их не разобрать даже тем, кто всех ближе к нему. Но так ли уж все это важно? Отходная есть отходная — произнеси его членораздельно или просто бормочи!..

Гроб снова погружают на дроги, и похоронная процессия, обильно поливаемая дождем, смешанным со снегом, движется по Шулер-штрассе мимо дома, где некогда жил Моцарт и где были написаны «Свадьба Фигаро» и многое другое.

Шулер-штрассе — улица длинная. Пока шли по ней — процессия изрядно поредела: кто поотстал, а кто — просто шмыгнул незаметно в переулок или скрылся в ближайшем трактире.

Иосиф Дайнер шел сколько мог. Сказать по правде, он намаялся с самого утра. Изрядно озяб. Шагать ему было не вмоготу и он, поклонившись гробу, проводил дроги долгим взглядом...

Сальери шел с непокрытой головой. Шел и думал. Думал и шел. Думал о том, что и его самого когда-нибудь повезут на кладбище святого Марка. Любопытно: сколько тогда будет народу? Кто из друзей вот так, как эти, шмыгнут в подворотни?..

Он шел и шел, не обращая внимания на непогоду, — на дождь, на снег, на ветер, — шел точно по колее, которую прочерчивали колесами дроги.

Похоронщики остановили лошадей.

— Вы пойдете дальше? — пробасил похоронщик.

— Где мы? — спросил Сальери.

— За городскими воротами...

— Уже смеркается... — сказал другой похоронщик.

— Где же остальные?

— Давно смылись.

Сальери оглянулся: да, он один и больше никого, кроме этих двух похоронщиков, да этого черного гроба, да этого ветра и снега.

— Быстро стемнеет, — сказали похоронщики.

— Да, конечно, — согласился Сальери. Он подошел совсем близко к дрогам и поклонился музыкмейстеру, которому изрядно досаждал при жизни.

Похоронщики вскочили на дроги, прошлись кнутом по лошадям и быстро понеслись вперед, прямо к кладбищу, до которого было еще далеко...

Антонио Сальери не двинулся с места, пока не скрылись дроги в мгlistом, умирающем дне. Он никак не полагал, что музыкмейстера, то есть гроб с его прахом, свалят в общую могилу и могила эта затеряется навечно...

Вена — Москва

Юрию Квициния

ВИД С ГОРЫ КАЛЕНБЕРГ

Этти настаивала на прогулках. Жан нехотя подчинился.

— Ты из меня делаешь больного, — сетовал он.

Она брала его руки — полнеющая, любящая, бросившая даже детей своих ради него — и говорила:

— Посмотри на меня.

Он покорно обращал на нее свои искрометные глаза и ждал, что будет дальше.

— Ты иногда думаешь о судьбе Пепи?

Так называли в домашнем кругу младшего брата Иоганна-Иозефа.

— Думаю. И даже много. — И веки его невольно прикрывались.

— А он мог бы еще жить. Мог бы! Мы недоглядели, говорили: «Он молод. Преодолеет...» А что получилось? Он ушел вослед матери. Лежит в земле рядом с нею. Нет! Я теперь поумнела! И не допущу, чтобы и ты...

Она бросилась ему на грудь.

Он смирялся:

— Хорошо. Готов ко всему. Прогулки — так прогулки. — И целовал ее в мочку уха.

Певица Генриетта Хапулецки бросила семью, сцену ради Штрауса. Она была старше его на семь лет. Верно угадала, что «король вальсов» не совсем король. Его еще предстоит короновать. Это большой ребенок, негранный алмаз. Он может стать по-настоящему большим музыкантом, а не «пиликать вальсы» до бесконечности, причем вальсы с безвкусными текстами случайных стихоплетов. Она решила про себя так: первое — ему нужна упорядоченная жизнь, а не бесшабашная трата здоровья; второе — позарез необходимо что-то противопоставить обнаглевшим издателям, а не слепо подписывать первый же договор, который ему подсовывают. Словом, большому ребенку нужна мама.

Покойная Анна Штраус, нежно любившая сына, не могла опекать его и защитить от хитрых антрепренеров и издателей, вроде Хаслингера. Генриетта Штраус все взяла в свои руки и действительно добилась ощутимых результатов — милый Шани, Жан становился милым, но солидным Иоганном, финансовые его дела стали устойчивыми, здоровье заметно поправилось. Композитор уже не трудился на износ. И все это она, Генриетта Трефц на сцене, она же Этти Штраус. Этти взяла на себя очень трудную роль. Даже свадебное путешествие в Венецию обернулось для нее тяжелым испытанием: она, по существу, превратилась в сиделку возле тяжело заболевшего Иоганна.

Этти еще и еще раз напоминала мужу о несчастном Йозефе:

— Он был талантлив. Он мог порою потягаться с тобой. Вы все видели, что он болен. Могли бы отворотить беду. Или несколько отодвинуть катастрофу. Ничего не сделали! А потом уже венцы торжественно хоронили. Тебе нужны досрочные похороны?

Он смешно замотал головой, дескать, все не нужно.

— В таком случае, дорогой Жан,— немного послушания. Ради твоей пользы, ради музыки.

Иоганн Штраус смеялся, смеясь — соглашался. И не просто соглашался, а на деле доказывал. Вот сейчас, в этот январский день 1871 года гуляют они на Каленберге. А в прежние времена он сидел бы в каком-нибудь душном ресторанчике. Вот какова метаморфоза! А почему? Да потому, что слушается своей Этти...

На горе Каленберг лежал снег. День был солнечный, теплый. Вена простиралась у ног — и далекая и совсем близкая. Фиакр ожидал поодаль, кучер поил и кормил своих добрых лошадок...

Даль была настолько прозрачна, что Дунай, казалось, рядышком. И Шенбрунн и Пратер — тоже хорошо было видно.

Он вел Этти под руку, хвалил погоду, жадно вдыхал целебный горный воздух. Голова было закружилась, но совсем ненадолго — на какое-то мгновение. И все прошло, сердце забилося ровнее...

— Давай полюбуемся,— сказал он. Пошел вниз по склону, чтобы получше разглядеть Вену из конца ее в конец.

Первое, что бросалось в глаза — шпиль собора святого Штефана. В этом соборе он тайно обвенчался с Этти. Это был большой сюрприз для матери, для братьев — Йозефа и Эдуарда и, разумеется, для друзей. Да, он увел ее от мужа, Хапулецки, от ее детей. Увел — ушла... Какая разница! Это была любовь! Она окунулась в его дела, они стали ее делами, занялась его здоровьем, оберегала, как могла... Венчание было торопливым, но таинство все же свершилось по всем канонам церкви. И счастливые уехали. На Юг. И она лечила его в дороге, и там — в Венеции. Ночей не спала... Компрессы, припарки, капли, порошки...

Где-то течет речка Вин, над нею — театр «Ан дер Вин». Сколько связано с этим театром и сколько еще будет связано!

В театре сейчас идут репетиции первой оперетты Штрауса «Индиго и сорок разбойников». Она написана под нажимом директора Максимилиана Штайнера и дирижера Рихарда Жене. И не без тайного соучастия Этти. Написана, репетируется... Бог знает, что получится! Может, придется раскаиваться в том, что взялся за оперетту, может, придется еще клясть руки, которые выводили ноты на бумаге...

— Не придется,— заявляет Этти.

— Ты к тому же и провидица? — усмеяется Жан.

— И Штайнер уверен в успехе. Да и Жене не из тех, что будет тратить время без особой уверенности в успехе. Он сказал мне: «Иоганн написал первую венскую оперетту». Слышишь, Жан? Первую...

Он машет рукой:

— Первая еще не значит — хорошая.

— Нет, значит,— упорствует Этти.

— Поживем, увидим.

Но главное все-таки — не театр, а исток — казино. Где казино Доммайера? Недалеко от Шенбрунна. Туда, поближе к Дунаю... Хорошо, что случилось быть на свете этому казино и умному Доммайеру, где молодой Иоганн мог выступить со своими первыми вальсами. Там, там у Доммайера, все и началось. Именно тогда стал завидовать ему чудесный, замечательный музыкмейстер Штраус-отец, покинувший семью ради пухленькой соседки...

— Я сейчас думаю о казино,— говорит Иоганн.— И думаю о Доммайере. Возможно без него не было бы этого дунайского вальса о Венском лесе.

— Почему же? — возражает Этти. У нее немножко простуженный, хриловатый голос.— Талант закопать не так-то просто...

— Но и дать ему крылья — тоже дело немалое.

— Разумеется, Жан.

Он расчесывает пальцами бакенбарды и мыслями снова в прошлом, у Доммайера. А недалеко от Доммайера выступал отец со своим

оркестром и нередко посылал «лазутчиков», чтобы узнать, что делает сын, «чего еще напиликал»... Говорят, порой зеленел от завидок. А впрочем, чему было завидовать прославленному маэстро? Жаль, что очень рано скончался отец, совсем в расцвете сил. Очень жаль... Штраус-отец, Штраус-сын... Иногда их путают. Даже сейчас. Особенно за границей — в Париже, Лондоне, Петербурге, Варшаве, Берлине...

Глядя на Вену — великий город музыки и танца — невольно одни воспоминания наголзают на другие, смешиваются, образуя картину взлетов и разочарований. Но как ни говори, взлетов было больше. Несравнимо больше! Как не вспомнить первое исполнение «На красивом голубом Дунае» или «Сказок Венского леса»? Сколько раз вызывали на бис! Сколько было оваций! Буря, целая буря аплодисментов! Цветы, шампанское, улыбки! Это ли не достойная награда?

Если Доммайер был первым в музыкальном счастье Иоганна, то позже прочно вошли в жизнь музыкмейстера Шперль и Швендер. Их залы слышали первые исполнения многих вальсов Штрауса-сына. В них продолжалась слава «короля вальсов». Им обязан он многим...

Жан наклоняется к Этти и делится своими воспоминаниями...

— Я не согласна, — говорит непреклонная Этти, — ты всем сам себе обязан, а больше — никому.

— Нет, это не так, дорогая.

— А я говорю — так. — Она кладет ему руку на сердце. — Ты за все платил этим. Это твоя «шагреновая кожа». От щедрости ты готов благодарить всех и вся. Но не забывай — вот здесь, отсюда ты истекал невидимыми потоками — нет, реками! — крови. Не смейся, это так. Вот примеры: твой несчастный отец. Разве ему надлежало помереть в сорок лет?! А Ланнер? Да что говорить о них. Твой брат мог бы жить и жить, если бы не эти проклятые перегрузки. Так что ты не особенно ищи своих благодетелей и не очень благодари их. Они тебе самому обязаны многим. Больше, чем ты им!

Этти, как всегда, говорила горячо, без обиняков, уверенная в своей правоте.

Он не совсем согласен с ней. Искусство нуждается в покровительстве. Это не хлеб, без которого человек тотчас испускает дух. Без музыки можно дышать, существовать. Следовательно, это производное. А раз так, то роль покровителя повышается. Как бы ни был жаден Хаслингер, без него не увидели бы свет многие вальсы.

— Нашелся бы другой издатель, который понимал бы, что Цирер ниже Штрауса, а не выше.

— Меценат? Бескорыстный?

— Возможно.

— Дорогая Этти, иногда ты кажешься мне идеалисткой.

Она рассмеялась.

— Жан, не смейся. Меня никто не сможет обвинить в идеализме. Скорее наоборот.

— И все-таки я благодарен. Даже Хаслингеру. Но надо же и ему заработать. Корить за это?

— Но сколько заработать? — возмущенно спросила Этти.

— Это уже дело коммерции.

— То-то и оно!

Потом он отыскал взглядом дворцы Хофбург и Шенбрунн... Да, в их залах Иоганн Штраус не раз блистал своей музыкой, не раз удостаивался милостей его императорского величества и многочисленных вельмож. Да, то были годы официального признания — ведь выше дворцовых залов не взлетишь...

— Это почему же? — с досадой произносит Этти. — Казино Доммайера ниже императорского зала?

— А разве нет? — наивно спрашивал Жан.

— Подумай сам.

Он рад, что умная Этти говорит за него, ибо они одинаково думают, хотя не всегда признаются в этом ни она, ни он...

— Вспомни, — продолжает она, — как ты добивался звания...

— Какого? — Жан настораживается.

— Дирижера придворных балов!

Его словно бы укололи в самое больное место.

— Откуда тебе знать, как я добивался? — ворчит он.

— Сам же рассказывал.

Ах, да! Разумеется, сам! Стыдно признаться теперь, — сколько раз он подавал всеподданнейшие прошения о том, чтобы ему всемилостивейше было пожаловано звание «дирижера придворных балов». Не честь этих прошений, которые аккуратно писались и столь же аккуратно вручались обергофмейстеру двора начиная с 1850 года. Каждый раз он получал отказ или двор попросту отмалчивался. А ведь его, Штрауса-сына, уже тогда называли «королем вальсов». Друзья стали потешаться над ним: «Штраус вознамерился взойти на престол». И все-таки Иоганн не терял надежды. Особенно участились его прошения после Петербурга, где народ и государь осыпали его всяческими почестями. Если признают в далеком Петербурге, то почему бы не признать Штрауса Венскому двору? И что будет Хофбургу или Шенбрунну, если дирижером балов станет любимец Вены?

Наконец-то, Иоганн добился-таки своего: в 1863 году ему было присвоено звание «дирижера придворных балов». Как и предсказывали многие друзья, Штраус сразу отдалился от народа, но приблизился ли ко двору? Ему, как дирижеру, уже запрещалось выступать перед венцами в различных казино и залах, где его так всегда привечали и так глубоко любили. Все было вокруг: и позолота дворцовых покоев, и блистающие богатством высокопоставленные люди со своими

дамами, но не было сверкающих от радости глаз простых венцев. Искренняя любовь была променяна на чопорную признательность, овации — на сдержанные аплодисменты, веселье и вино — на осмот- рительный наигрыш...

Жан поворачивается к жене:

— Послушай, Этти, не можешь ли сказать: зачем сдалась мне эта самая должность?..

— Какая? Дирижера?..

Он договаривает за нее:

— Да, дирижера придворных балов?

— Тебе самому хотелось этого...

Жан хватается за голову, словно она раскалывается на части.

— Но зачем? Зачем? — ноет он.

— А тщеславие?

— Будь же снисходительней, Этти. Ну был я дураком, был безмоглым. Мне казалось... Мне хотелось блистать...

— Где, Жан?

— Ну, там, там! — Жан указывает пальцем на Хофбург, на далекий Шенбрунн. — А теперь? Постой, Этти! Сколько же мне те- перь? Сорок пять? Сорок шесть? Боже, а все по-прежнему набитый ду- рак... Этти, скорее в город, домой!

— Что с тобою?

Он обнимает ее плечи, глаза его светятся мальчишеской радостью.

— Со мной ничего особенного. Но ошибку надо когда-нибудь исправлять. Понимаешь меня?

Сказать по правде, она не очень понимала, что он хочет исправить, притом немедленно? Неужели?..

— Да, да! — говорит он, беря ее под руку, чтобы подвести к фиакру. — Ты такая догадливая, а сейчас не можешь понять с полуслова?.. Какой же я был дурак!

— Жан, не торопись, мне трудно идти так быстро. Скажи мне, что ты надумал?

Он удивлен:

— Я? Это мы с тобой надумали. Как всегда, хорошими идеями я обязан тебе, и только тебе.

— Может, ты скажешь, что все-таки происходит с тобой? Почему мы должны бежать отсюда?

Он начинает шутить:

— Этот вид с Каленберга кое-чему научил меня. Я лучше увидел себя в прошлом. Надеюсь, это послужит мне уроком и на будущее.

Фиакр находился уже совсем близко от них. Кучер занял свое место на козлах, натянул поводья.

— Жан, не томи меня: что ты надумал?

— Ничего особенного, — весело ответил он. — Я немедленно, сейчас же, буквально сию минуту посылаю прошение обергофмейсте-

ру двора об отставке с поста дирижера. Я уже поумнел... Покорно благодарю! Ваша светлость!.. Отставка, отставка, только отставка!

Он подхватил Этти и чуть ли не на руках понес к фиакру и ловко усадил на кожаное сиденье.

— Ко мне, домой! — крикнул он кучеру. Обнял Этти и прошептал ей: — От-став-ка! Уф, как легко на душе! Спасибо Каленбергу!

Вена — Москва

АРИСТОГИТОН И ГАРМОДИИ

Цель настоящего рассказа — внести бóльшую ясность в событие, которое произошло давным-давно. Может быть, и не стоило бы делать этого, если бы не был введен в заблуждение — вольно или невольно — такой умный историк, как Фукидид. А ведь его читают и перечитывают и в наше время, причем с полным доверием к его слову...

А еще я хотел бы задать чуть-чуть риторические вопросы. Скажем, так: на небе светит созвездие Близнецов — звезды Кáстора и Поллукса (Полидевка). Что же примечательного совершили эти братья, именем которых названы звезды? Плыли на корабле «Арго» в Колхиду? Крали невест у себя на родине? Кастор был мастак по части укрощения коней? А Полидевк хорошо показал себя в кулачных боях? И этого вполне хватило, чтобы вечно светились в небе их личные звезды?

Что же в таком случае сказать об отважных смертниках Аристокитоне и Гармодии? Тщетно искать их светила. Верно, они не плыли в прекрасную Диоскуриаду, на Кавказ, не укрощали коней и не похищали невест. Так чем же они прославились? Это, в общем, известно, однако не излишне освежить в памяти их подвиг, тем более что кое-что нуждается в уточнении, хотя сам Фукидид назвал их подвиг отважным...

Аристокитон и Гармодий жили в древних Афинах в допериклову эпоху. Это были молодые люди в расцвете сил. Гармодий блистал красотой, был прекрасного телосложения, на соревнованиях в гимнасии всегда отличался. Однако было бы ошибкой считать его красавчиком, ум которого отступает перед внешностью. Нет, и то и другое, то есть и ум и красота, гармонично сочетались в нем. Его можно было отнести к прекрасным произведениям природы, поразительный род человеческий. Не обделила его жизнь и достатком: родители Гармодия вырастили его, можно сказать, в холе и неге.

Аристокитон годом был старше Гармодия. Семья его в свое время познала нужду, но нельзя сказать, что она слишком страдала, обделенная судьбой. Молва передает, что был он человеком «среднего круга». Добавим от себя, основываясь на новейших разысканиях

профессора Димитриоса Ксанфидиса, что ни в чем необходимым Аристогитон себе не отказывал. Скорее всего именно в сравнении с более богатым Гармодием казался он человеком «среднего круга».

Правил в то время в Афинах Гиппий из Писистратидов — тиран, унаследовавший власть от своего отца, скончавшегося за несколько лет до описываемого события. А младший брат Гиппия, Гиппарх, тоже был человеком весьма влиятельным и надежной опорой брату, впрочем, как и все Писистратиды.

Наверное, не следует полагать, что Гармодий и Аристогитон особенно терпели от тиранического правления. Они не были притесняемы более других или обижены властью более прочих афинян.

Однако при каждой встрече Аристогитон и Гармодий неизменно касались тиранического правления. Они уединялись в какой-либо оливковой роще или саду академии, где вели продолжительные разговоры. Это не были споры. Нет, просто обмен мнениями двух единомышленников.

— Скажи мне, — говорил Аристогитон, — долго ли еще продлится тирания в Афинах?

— О том же хочу спросить и я, — отвечал Гармодий.

— Я поражаюсь долготерпению афинян.

— И я поражаюсь не меньше твоего, Аристогитон.

— По-моему, со времен Гомера афиняне сильно изменились в плохую сторону.

— Что ты имеешь в виду?

— Их странную покладистость...

Гармодий возмущился:

— Они просто согнули спины и теперь уже не скоро распрямятся.

— Ты думаешь, Гармодий?

— Уверен!

— И останутся горбатыми до могилы?

Вопрос не простой, Гармодий внимательно глядит на своего друга. Что он имеет в виду? А тот молчит. Его квадратное лицо становится непроницаемым. Его жилистые руки скрещены на груди. Голубые глаза щурятся, точно страдают близорукостью.

Молчит Аристогитон, молчит...

С некоторых пор сильно призадумался Гармодий. Вроде бы ничего особенного не говорил Аристогитон, однако их беседы заставляли думать, как говорится, шевелить мозгами...

Однажды Гармодий примчался к Аристогитону весьма взволнованный. Он вызвал друга во двор и, озираясь словно злоумышленник, сказал, что имеет сообщить нечто важное.

— Говори, — сказал Аристогитон, — нас никто не подслушивает. Гармодий начал сбивчиво... Говорил что-то о Гиппархе, о каком-то письме, о странных предложениях... Аристогитон ничего толком не

смог понять. Было ясно одно: Гармодий весь кипит.

— Успокойся, — сказал Аристокитон и позвал старого раба, чтобы тот принес воды.

Вода Гармодию не очень помогла: рассказ его не стал более внятнм или плавным. Но Аристокитон кое-что начал понимать: этот Гиппарх определенно набивался в любовники к Гармодию.

— Наглец! — не выдержал Аристокитон.

— Нет, — сказал Гармодий, — простой тиран! Я обозвал его некогда, он будет мстить мне.

Аристокитон пригласил своего друга в дом и угостил его вином.

— Не думай об этом, — посоветовал он.

— Не думать?! — возмутился Гармодий. — Не думать о тирании и ее противоположности — демократии? И это советуешь ты, Аристокитон?! Если послушать тебя, то остается одно: набивать себе брюхо, спать с женою и делать детей. Иными словами, уподобиться муравьям? Нет, друг мой, человек на то и есть человек, что мысли у него в голове все время бродят наподобие молодому вину. А иначе к чему сама жизнь, и это солнце, и это небо, и эта земля? Я полагаю так: человек обязан думать, думать и о власти тоже, поскольку живет он в обществе, подчиненном законам. А там, где закон — там и власть. Одно есть отражение другого.

Пока говорил Гармодий — горячо, словно бы споря с кем-то, — друг его Аристокитон улыбался в усы. А усы у него были пышные, как у Зевса, и борода была божественная. И цвета они были рыжеватого, будто покрасили их вавилонской краской для волос. Однако ни усы его, ни борода не могли скрыть квадратного строения лица...

— Тебе смешно? — спросил Гармодий.

— Говоря откровенно, да.

Гармодий немного растерялся.

— Что же я сказал смешного? — спросил он.

— Смешного — ничего. — Аристокитон продолжал улыбаться. И улыбка его приобретала насмешливую окраску.

— В чем дело?! — вскричал Гармодий. — Ты потешаешься над моими словами?

Он вскочил с места, схватил в охапку свой плащ... Однако Аристокитон удержал его.

— Не горячись, — сказал он, — ты говорил правильные слова. О демократии надо думать. Но лучше — бороться за нее. И о тирании надо думать, но лучше — свергать ее.

Гармодий не нашелся что сказать.

— Да, Гармодий! Не думать, но действовать.

Гармодий швырнул свой плащ в угол.

— Думающих у нас много, Гармодий. Болтунов — еще больше. А действующих — горстка. Ни думы, ни слова не могут возыметь действия на тиранов. Так же, как молитвы, обращенные к богам. А кулак — это дело!

И Аристогитон показал кулак.

Гармодий отпил глоток вина и сказал:

— Я готов действовать.

— На это у нас есть и время и возможности, Гармодий...
А действовать надо!..

Гиппарх, говорят, решил отомстить Гармодию. Нет, он не стал прибегать к кинжалу. Это было бы слишком по-азиатски. И это противоречило традициям Писистратидов. А вот пустить в ход грязный язык — вполне допустимо. Вскоре по Афинам пополз слухок: Гармодий и Аристогитон — любовники. Однако прилипнет ли это грязное пятно к молодым людям? А почему бы и нет, если клевету разнесут тысячи языков?

Гиппарху эта клевета показалась недостаточной. И вот тираны приглашают на празднник Великих Панафиней сестру Гармодия. Ей оказана большая честь: она понесет священную утварь, и все увидят ее во главе процессии.

Но за несколько дней до празднеств тираны объявляют девушку недостойной такой почести. Гармодию нанесена звонкая пощечина!

Аристогитон говорит своему другу:

— Тираны оскорбили и меня и тебя. Это лишь малая часть их деяний. Самое большое оскорбление нанесено афинянам, которые сносят издевательства тиранов. Мы с тобой лишь частица сонма униженных. Я предлагаю отомстить тиранам не потому, что оскорбили лично нас, но за то, что сидят на шее афинян. Уничтожив тиранов, мы возродим древнюю демократию.

Так говорил Аристогитон за несколько дней до Панафиней, которые должны были состояться 28 гекатомбеона третьего года олимпиады, то есть в 514 году до нашей эры...

Гармодий спросил:

— Нас будет двое?

— Нет, — сказал Аристогитон, — я предпринял кое-какие шаги. С нами пойдут десять юношей. А больше и не надо. Больше — значит больше риска быть обнаруженным тиранами.

— Ты придумал...

— Нет, — перебил его Аристогитон, — я ничего не придумал. Я просто рассчитал. А расчет простой, и он потребует жертв. Надо быть готовым...

— К чему, Аристогитон?

— К смерти. В случае просчета с нашей стороны. И к смерти и к бессмертию. Ибо нет лучшей участи, чем умереть за демократию в борьбе с тиранией!

И лицо Аристогитона засияло особым сиянием.

В день Панафиней любой гражданин мог взять с собою копье и щит, подражая своим предкам, которые обычно ходили вооруженными. Однако запрещалось брать с собой кинжалы. Кинжал — это символ непокорности, бунта против тирании. Человек с кинжалом — преступник, и его следовало незамедлительно наказывать.

Молодые люди во главе в Гармодием и Аристокитонем вооружились именно кинжалами. Они спрятали их в складках плащей. А щит и копье следовало отбросить в сторону в соответствующий миг...

Город высыпал на улицы. Гиппий с телохранителями удалился с утра в Керамик, чтобы здесь обсудить план шествия ликующей толпы.

А где же Гиппарх? Ведь двуглавую гидру следует поразить мгновенно...

Люди, люди, люди!.. Идут, пританцовывают, поют песни, иные горланят, изрядно подвыпив.

Молодые с кинжалами смешались с толпой, высккивая Гиппия и Гиппарха, не зная, где они.

Тут к Аристокитону подходит некий юноша и шепчет ему на ухо:

— Гиппий в Керамике.

— А где Гиппарх?

— Говорят, в городе. Недалеко от Дипилонских ворот.

Аристокитон передает это Гармодию. И оба согласны в том, что надо подождать, когда оба тирана сойдутся вместе, чтобы принять поздравления знатных афинян.

Гармодий и Аристокитон шагают плечом к плечу. Идут медленно, чтобы хватило времени на раздумье. Ничего не поделаешь: надо ждать, надо набраться терпения, в задуманном кровавом деле нет места для необдуманной поспешности.

Но вот наихудшая новость, какую только можно было представить себе: Аристокитону сообщают, что с Гиппием весело беседует один из друзей-заговорщиков.

— О чем? — спрашивает Аристокитон.

— Трудно сказать... Не исключено, что мы выданы Гиппию.

— Из чего это можно заключить?

— Воины окружили Гиппия тесным кольцом...

Гармодий вмешивается в разговор:

— Ясно: мы преданы.

Аристокитон же не совсем в этом уверен.

Гармодий настаивает на своем. Он предлагает убить первого же попавшегося под руку тирана — Гиппия или Гиппарха.

Аристокитон соглашается. Вместе с друзьями-единомышленниками спешит к воротам.

— Скорее! Скорее же! — поторапливает он.

И не напрасно: уж если замыслено, то не следует терять ни одного мгновения. Вперед, вперед!

У ворот толчея. Гиппарха здесь нет. Пройдя ворота, Аристокитон и Гармодий воочию видят самого Гиппарха. Он стоит посреди толпы и держит речь.

Его слушают подобострастно. Улыбаются, когда улыбается он, и мгновенно умолкают, когда умолкает. И совсем уж сникают, если сердится Гиппарх или говорит что-либо, повысив голос.

Аристокитон и Гармодий кидают наземь щиты и копья. И в мгновение ока набрасываются на Гиппарха. У того слово застревает в горле, не успевает его высказать, ибо два лезвия вонзаются в его грудь. Все это молниеносно...

Гармодий падает тут же, рядом со своей жертвой: его прокалывает копьем телохранитель тирана. А где же Аристокитон?

Он смешивается с толпой. На время скрывается от преследователей. Но его настигают и отнимают жизнь — медленно, озлобленно, причина невероятные мучения.

Умирая, Аристокитон произносит всего два слова:

— Смерть тиранам!

Так закончили свою короткую жизнь два молодых афинянина, которые позже войдут героями в народные сказания и писания ученых мужей. Только жаль, что клевета порою повторяется в этих сказаниях и писаниях, а истинная причина гнева молодых людей, преданных идее демократии, тем самым несколько затушевывается. Не избежал этого даже сам Фукидид. А ведь имена Аристокитона и Гармодия вполне достойны светиться на небе, подобно звездам Кастора и Поллукса.

Афины — Москва

ЧЕЛОВЕК С НИМБОМ

Дверь в мастерскую была приоткрыта. Аньолино Гадди, приятель Бенвенуто Челлини, пропустил вперед мессера Доменико Дженори, некоего врачавателя, непризнанную звезду на небосклоне римских гиппократов. К тому же и прорицателя.

Бенвенуто сидел за низеньким столом — он работал над медалью для папы.

— Бенвенуто, — обратился к нему Гадди, — вот мессер Доменико Дженори, о котором я говорил тебе. Он еще покажет себя и посрамит своих недоброжелателей.

Бенвенуто вскинул на вошедшего живые, полные любопытства глаза. Его лицо, обрамленное бородкой каштанового цвета, вдруг просияло. Он встал навстречу гостям.

Мессер Дженори — бородатый здоровяк, облаченный в просторный бархатный кафтан, осторожно переступил порог, словно его поджидали злоумышленники с дубинкой. Оглядел мастерскую, уселся на прочную, грубую скамью.

— Вы и есть тот самый золотых дел мастер? — пробасил мессер Дженори. Он говорил не очень-то уважительным тоном.

— Если угодно — тот самый, — проговорил с расстановкой Челлини и нахмурился.

Гадди посчитал нужным сказать несколько приличествующих для этого случая слов, потому что, зная вспыльчивый характер Бенвенуто, он опасался, что разговор может вдруг обостриться. От этого бешеного Бенвенуто можно ждать что угодно.

— Бенвенуто, — говорил Гадди, — мессер Дженори может сослужить тебе хорошую службу.

— Мне? — словно бы удивился Челлини. — Мне нужна Анджелика! Может сказать мессер Дженори, куда она запропастилась?!

— Да, да, — сказал Гадди. — Для этого он и явился сюда.

— У меня пять скудо, — сказал Челлини. И выложил денежки. — Только поживее, мне некогда, я работаю.

— Синьор работает? — удивился мессер Дженори. — Но надо полагать, что Анджелика не просто прихоть какая-нибудь...

— Нет, — сказал Челлини. — Я ее очень люблю.

— Да, — подтвердил Гадди, высокий, довольно стройный мужчина лет тридцати. Его плосковатый нос немного искажал благородные черты лица. — Синьор Челлини превыше всего ставит любовь...

— После ваяния! — резко оборвал друга Челлини.

— Разумеется, после ваяния.

Мессер Дженори поднялся, стал против Челлини, потер свои руки, после чего сделал некие движения вокруг его головы.

— Горячо? — спросил он.

— Не знаю.

— Горячо! — сказал врачеватель. — Очень горячо!

Гадди стал делать знаки Бенвенуто Челлини, стоя за спиной мессера Дженори, — дескать, не надо спорить.

— Я вижу Анджелику, — говорил врачеватель. — Она под ярким солнцем. Она, она!.. Неделя, другая... третья... Через месяц!..

Мессер Дженори бессильно упал на скамью. Он отдувался, словно его из воды вытащили.

— Дай ему вина, — посоветовал Гадди своему другу.

Челлини налил чарку и подал мессеру Дженори. Тот запросто вылил ее в себя.

— Уф, — проговорил он. — Через месяц свидитесь.

Потом, отдышавшись, он вроде бы успокоился, сошел вроде бы на землю из неких таинственных и опасных сфер.

Челлини казался и смущенным и обрадованным.

— Мессер Дженори,— сказал он,— недавно я был с одним некромантом в Кулизее. Синьор Гадди тоже был со мною. Сказанный некромант, сицилийский священник, вызвал из преисподней несметное количество духов. Это была еще та ночь! Мне думалось, что у меня ум за разум зайдет.

— Это что такое — Кулизей?

— Как что! — вспыхнул Челлини.— Вы Рим знаете?

А Гадди тут как тут:

— Мессер Дженори, Кулизей и Колизей — одно и то же. Это так называют в Банки.

— В Банки? В этой округе, что ли?

— Да, в этой, где синьор Челлини проживает.

— Кулизей так Кулизей!

У Челлини чесались руки, однако он по возможности сдерживал себя, потому что это самое проричание насчет милой Анджелики очень было ему по душе. А главное — совпадение: и мессер Дженори и сицилийский священник-некромант назвали один и тот же срок: месяц. Здорово!

— Мессер Дженори,— сказал Челлини,— а как вы объясните нимб вокруг моей головы?

— Нимб? — удивился врачеватель.

— Ну да, нимб. Его видели многие мои друзья. Особенно на севере, на юге Франции, в росистые утра.

Мессер Дженори встал, снова вытянул руки и обвел ладонями вокруг головы Челлини.

— Да,— проговорил он,— горячо! Конечно, нимб. Даже явственно чувствую.

— Слышал? — Челлини посмотрел на Гадди.— Кажется, ты один не уверовал. А ведь многие видели.

— Я верю,— сказал Гадди, присоединяясь к смекалистому мессеру Дженори.

— В росистое утро хорошо виден. Вот такой нимб.— Челлини обвел рукой вокруг своей головы.— Как бы золотой.

— Нимб, нимб! — проговорил мессер Дженори.

Челлини был предоволен, взял свои пять скудо, прибавил к ним еще три и вложил в лапищу врачевателю и проричателю.

— Вы в своем деле мастер,— сказал он.— И вы мне очень по душе с этой своей великой наукой. У вас есть такое, чего в аптеках не купить. Я это говорю от души.

— Премного благодарен,— сказал мессер Дженори, пряча деньги.— В вас я тоже вижу человека ума. А вот насчет римских врачей я другого мнения. Они о себе слишком мнят, а простых вещей вылечить не могут. Я снимаю любую боль в одно мгновение, а они?

— А моровую язву лечите? — поинтересовался Челлини.

— Запросто.

— А французскую болезнь?

— И ее тоже.

Поговорив еще немного, Челлини проводил со всей возможной вежливостью мессера Дженори до улицы, которая вела на другую сторону Банки. Возвратившись в мастерскую, он сказал Гадди:

— Этот синьор важного ума человек. И насчет Анджелики сказал и насчет этого нимба. Он молодчага!

— Да, да,— поспешил согласиться с ним Гадди, прекрасно понимая, что бесполезно спорить с Бенвенуто, особенно когда речь заходит о нимбе.

Челлини сказал своему другу:

— Я очень желаю видеть мою Анджелику. А куда я решил погасить эту великую мою страсть и отыскать некую девицу. Она приходит ко мне каждой ночью. Тоже сицилианка. Она напоминает мне Анджелику.

Гадди слушал его с улыбкой, которую усиленно скрывал от этого «бешеного Бенвенуто». Самое милое дело — поддакивать ваятелю. И тем не менее...

— Мой Бенвенуто,— сказал Гадди как можно ласковее,— как же понимать тебя? Любишь Анджелику, а спишь с этой девицей...

У Челлини сверкнули в глазах сатанинские молнии.

— Сказать по правде, моя первая любовь — это моя работа: эта глина, эти чеканы, этот карандаш и эта бумага. Когда работаю — забываю все. Аньолино, я бы умер без этих моих медалей, солонок, перстней и отливок из бронзы.— Челлини подбежал к кувшину с вином, налил в чарки.— Выпьем с тобой за Анджелику и ее сестер. Всех люблю, всех!

Выпил и вдребезги разбил чарку об пол.

Аньолино Гадди тоже выпил, но чарку не разбил.

— Я работаю,— горячо продолжал Челлини,— но денег не нашол. Мне должен папа, должны все эти Медичи, должны разные там высокие синьоры. А я иногда не могу послать денег моему милому отцу. Это справедливо?.. А теперь о любви. Мне мила Анджелика. И многие милы. А что получаю в награду? Анджелика сбежала. А одна девка наградила меня французской болезнью, от которой с превеликим искусством вылечил меня искуснейший в этом деле доктор. Такова благодарность в этом мире.

— Мой Бенвенуто, ты немножко наговариваешь на себя.

— Я? Наговариваю? — изумился было Челлини, но в следующее мгновение должен был чуточку изменить свои утверждения, говоря: — Мой Аньолино, не хочу гневить бога. Это он мне послал искусство, в котором я превзошел многих. Единственно, кого не превзошел,— великого, чудесного, неповторимого, божественного Буанаротти. Но я премного благодарен богу, что он судил мне родиться в одном с ним городе — прекрасной Флоренции. Если бы не

это мое искусство, я бы давно подох наподобие собаки. Скажу по правде: когда беру резец в руки, забываю и Анджелику, и папу, и этих всех Медичи... Всех, всех, всех!

Он еще что-то хотел добавить к своей пылкой речи, но в это время в дверь постучались. Челлини невольно глянул, на месте ли аркебуза, которая время от времени верно ему служила: да, ружье там, где положено быть.

Вот вошли двое. И кто же это? Баччина делла Кроче и мальчик Помпео — оба от самого папы. Это явление было немного неожиданно для Челлини. Он радушно приветствовал Баччину делла Кроче.

— Его святейшество, — сказал папский посланник, — весьма интересуется вашей работой. Как продвигается медаль?

— Медаль? — Челлини пригласил Баччину делла Кроче к столу. — Взгляните — работа идет! Вот одна сторона — портрет его святейшества. А на другой стороне — Мир. По моему разумению, это символ, величайший символ! Я прилагаю все силы, чтобы сделать медаль такую, каковою она должна поразить всех. Я очень надеюсь, что мое великое умение позволит поднести его святейшеству нечто особенное.

Баччине делла Кроче хорошо известно самохвальство Челлини. Но у кого же повернется язык сказать, что он не имеет под собой оснований?

Тридцать пять лет, а если считать по Данте, — только половина жизненного пути. Если бог даст, вторая половина пути Челлини наверняка покажет всем друзьям и недругам, на какие такие удивительные вещи способен Бенвенуто. Пусть ему далеко до величия Буанаротти, но ведь и малая толика этого величия — большая победа! А Челлини победит, если тело и разум не изменят ему прежде времени...

— Бенвенуто, — сказал Баччина делла Кроче, разглядывая то одну, то другую сторону медали, — мне нравится то, что делают твои золотые руки. Его святейшество хотел бы сам увидеть твою работу. Этот маленький Помпео послан, чтобы передать твой ответ на этот счет.

Челлини сказал:

— Мой ответ? Все свои силы я положу на то, чтобы услужить его святейшеству. Нет у него более верного слуги, чем я! Но нельзя ли выдать мне хотя бы часть тех денег, которые давно мне причитаются? Если говорить начистоту...

Тут его за рукав — эдак легонько — дернул сказанный Аньолино Гадди, намекая, чтобы его приятель попридержал свой острый язык за зубами, ибо, кажется, Бенвенуто немножко разошелся. Неужели он не смекает, с кем имеет дело?

Однако Бенвенуто гнет свое:

— Его святейшество сделал бы мне большое благо, передав через

этого Помпео несколько сот скудо — часть долга. Я бы с этими скудо еще лучше бы служил святому престолу...

Баччина делла Кроче отослал Помпео в Ватикан, говоря, что сам доложит обо всем папе. С тем и ушел этот самый мальчик Помпео, который не по годам был смекалист и хитер.

— Бенвенуто, — сказал Баччина делла Кроче, — тебе очень мешает этот твой бешеный характер. Почему ты говоришь все, что у тебя на сердце, в присутствии этого Помпео, которого мало знаешь.

Челлини вспыхнул:

— А мне плевать на этого ублюдка Помпео! Если в Риме не могут узнать мне цену, я метнусь в Париж. Король передавал мне приглашение, а в Париже не меньше, чем в Риме, разбираются в искусстве. И, по моему разумению, там будет больше внимания ко мне, чем в моем отечестве. Где более всего ценят пророка? Только не там, где он родился и живет.

Баччина делла Кроче немного посмеивался, но без ехидства, потому что знал истинную цену величайшему таланту этого Челлини.

Аньолино Гадди вставил словечко:

— Бенвенуто нынче не совсем в своей тарелке по причине некоторых переживаний. Так что не извольте на него обижаться.

Сказав, что вовсе не обижается на речи Челлини, Баччина делла Кроче удалился.

— Бенвенуто, — упрекнул своего друга Гадди, — что ты, словно бычок, лезешь в драку по поводу и без повода.

— Я? Лезу? — возмутился Челлини. — Пусть они платят, если уж так им хочется слыть покровителями и знатоками искусства! Я не намерен терпеть их скупость!

И, подойдя к столу, Бенвенуто погрузился в размышления о том, как бы удивить мир этой своей последней работой. Именно удивить! А на меньшее не согласен...

Аньолино Гадди, его приятель, зная нрав своего друга, почел за долг свой тихо удалиться, ибо не было лучшего средства от любых недуг Бенвенуто, чем работа, работа, работа...

Рим — Москва

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Мост	3
Поездка в кино	9
«Тот самый чудака?»	14
Скрипач на улице	20
Похороны музыкмейстера	25
Вид с горы Каленберг	30
Аристогитон и Гармодий	36
Человек с нимбом	41

Георгий Дмитриевич ГУЛИА

ПОЕЗДКА В КИНО

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 07.09.83. Подписано к печати
28.10.83. А 13398. Формат 70×108^{1/32}. Бумага
газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная
печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,03.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 2704. Зак. № 1415.

Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВЕГА·323· СТЕРЕО

Сетевая стереофоническая радиолa «Вега-323» рассчитана на самый широкий круг покупателей. Это одна из самых компактных стереофонических радиол. Она разработана на базе популярной модели «Вега-312-стерео».

В новой радиоле применены более совершенные узлы и детали, что обеспечивает высокую надежность в эксплуатации.

Улучшены электрические параметры радиолы, повышающие качество стереофонического приема. Электропроигрывающее устройство «Веги» снабжено микролифтом и автостопом.

Приемник радиолы работает в пяти диапазонах — ДВ, СВ, УКВ и пяти КВ.

УПРАВЛЕНИЕ «ОРБИТА»

